

Евгений Шифферс. Смертию смерть поправ

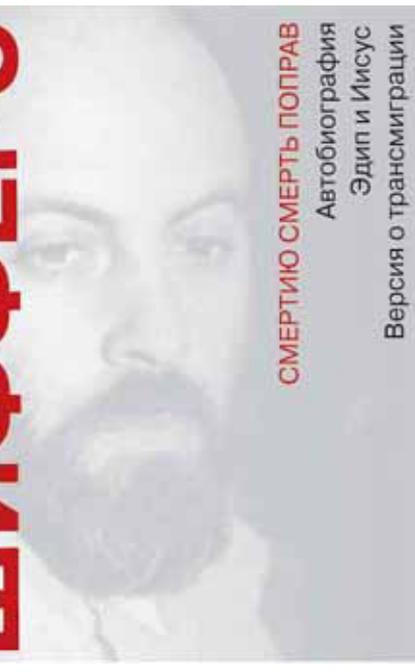
ШИФФЕРС

СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ

Автобиография

Эдип и Иисус

Версия о трансмиграции



Евгений Шифферс

Смертию смерть поправ

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3084355
Смертию смерть поправ: Роман: Русский институт; Москва; 2004
ISBN 5-98379-030-7

Аннотация

«Смертию смерть поправ» – сложное, многоплановое и многожанровое произведение, совмещающее в себе элементы автобиографического романа, мифологической эпопеи и религиозно-философского трактата. Оно имеет ключевое значение для творческого и духовного пути выдающегося театрального и кинорежиссера, писателя, религиозного философа и мистика XX века Евгения Львовича Шифферса (1934–1997).

Содержание

Об авторе и издании	4
Книга первая	7
Часть первая	7
Глава первая	7
Глава вторая	7
Глава третья	9
Глава четвертая	11
Глава пятая	12
Глава шестая	13
Глава седьмая	13
Глава восьмая	14
Глава девятая	14
Глава десятая	15
Глава одиннадцатая	16
Глава двенадцатая	16
Глава тринадцатая	18
Глава четырнадцатая	18
Глава пятнадцатая	19
Глава шестнадцатая	35
Глава семнадцатая	38
Глава восемнадцатая	39
Глава девятнадцатая	41
Глава двадцатая	42
Глава двадцать первая	44
Глава двадцать вторая	45
Глава двадцать третья	46
Глава двадцать четвертая	46
Глава двадцать пятая	48
Глава двадцать шестая	50
Глава двадцать седьмая	51
Глава двадцать восьмая	52
Глава двадцать девятая	52
Глава тридцатая	53
Глава тридцатая первая	57
Глава тридцатая вторая	58
Глава тридцать третья	59
Глава тридцать четвертая	60
Конец первых тридцати четырех глав	63
Часть вторая	67
Глава первая	67
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Смертию смерть поправ

Настоящее издание стало возможным благодаря финансовой поддержке Г.О. Павловского. Финансовую помощь в подготовке наследия Е.Л. Шифферса к изданию также оказали С.М. Бархин, О.Н. Гавриленко, О.И. Генисаретский, А.С. Кривов, М.Я. Макаренко, В.В. Малявин, Г.И. Маневич, М.Ю. Оганисьян, ООО «Орфографика», А.Р. Рокитянская, В.М. Слуцкий, Э.Д. Траковская, В.И. Хэтчер (Генисаретская), Э.А. Штейнберг, Р. Эйзлвуд. Шифферс Е.Л.

Об авторе и издании

Евгений Львович Шифферс родился в 1934 году в Москве. По отцу он происходил из рода немецких дворян, поступивших в XIX веке на русскую службу, по матери – из армянского культурного рода Пирадянов (Пирадовых). Отец, Лев Владимирович, был дипломатом, потом переводчиком, мать, Евгения Васильевна, – актрисой, позднее служащей профсоюза работников культуры.

Л.В.Шифферс оказался в числе осужденных Постановлением ЦК 1946 года «О репертуарах драматических театров и о мерах по его улучшению» и лишился работы. Семья жила в бедности.

Поступив по окончании школы на факультет журналистики МГУ, Евгений из-за тяжелого материального положения семьи вынужден был уйти из университета и поступить в артиллерийское училище. После училища – двухлетняя служба в армии. Во время службы на Урале Шифферс женился.

В ноябре 1956 г. оказался в Венгрии, в составе советских войск, направленных на подавление мятежа; был там контужен. В декабре родилась дочь Елена.

В 1958 году Евгений Шифферс был демобилизован по состоянию здоровья – в звании лейтенанта.

В этом же году он поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кино. Окончил его в 1964 году по классу Георгия Товстоногова.

Поставил на разных театральных площадках Ленинграда несколько спектаклей, ставших событием в театральной жизни города. Первым из них был спектакль «Сотворившая чудо» по пьесе У. Гибсона, дипломная работа Шифферса. Потом были «Антигона» Ж. Ануйя, «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Маклена Граса» М. Кулиша, «Кандидат партии» А. Крона, «Что тот солдат, что этот» Б. Брехта.

Обвиненный партийным руководством в «формализме», Шифферс был лишен возможности работать в ленинградских театрах.

В 1966–1967 годах был снят фильм «Первороссияне», концепция и постановка которого целиком принадлежали Шифферсу (формально режиссером-постановщиком считался А.Г. Иванов). Новаторский по своей эстетике фильм также был не принят партийными кураторами кинематографа и на широкий экран не вышел.

С начала 1960-х годов Шифферс пишет художественную прозу (рассказы и повести, пьесы, сценарии) и театроведческие тексты. Во время съемок фильма написаны первые части большого и сложного по составу произведения, «романа» «Смертию смерть поправ».

В 1967 году не имеющий возможности работать в Ленинграде Е.Л.Шифферс переезжает в Москву. Здесь он пытается продолжать театральную работу – ставит в «Современнике» спектакль «Народовольцы» (совместно с О. Ефремовым), сотрудничает на Таганке с Ю. Любимовым и создает еще несколько не получивших сценического воплощения театральных проектов. Но и здесь, несмотря на неизменное восхищение профессионалов его

театральным искусством, новаторство Шифферса, его непреклонно отстаиваемые мировоззренческие позиции не дают возможности реализовывать его планы. Последняя осуществленная Шифферсом театральная работа – спектакль «Прежде чем пропоет петух» в каунасском театре (1973).

Важнейший переломный момент – зима в Тарусе, на даче у семьи переводчиков Н. Оттена, Е. и В. Гольшевых, в 1967–1968 годы. Это время завершения «романа», время интенсивного самообразования; это и время мистического опыта, сыгравшего определяющую роль для всей последующей жизни.

В Москве рождается новая семья Шифферса. Жена, Лариса Михайловна Данилина, становится на все оставшиеся годы самым близким человеком, доверенным лицом и помощником. В это время Шифферс активно общается с широким кругом гуманитарной интеллигенции. В составе его дружеского окружения художники Э. Неизвестный, Э. Штейнберг, И. Кабаков, В. Янкилевский, М. Шварцман, писатели В. Максимов и Ю. Карякин, философы А. Пятигорский, Д. Зильберман, О. Генисаретский, индолог Б. Огибенин и многие другие.

В 1970 году рождается вторая дочь, Мария, которой посвящено и к которой обращено многое из написанного в последующие годы.

В конце 60-х и в 70-е годы написан целый ряд произведений богословского и религиозно-философского содержания – «Обрезанное сердце», «Инок», «Богооставленность», «Параграфы к философии ученичества», «Белый отрок» и др. Философскому и религиозному обоснованию художественного творчества посвящены эссе о друзьях-художниках, сборник «Памятник».

Театральные, историософские и педагогические идеи Шифферса оформляются в виде проекта Мемориального Театра Достоевского, или «Театра Мертвого Дома».

В начале 1980-х годов Е.Л. Шифферс резко сокращает общение, ограничивает его семьей и кругом ближайших друзей.

В 1980-е годы в центре внимания оказывается историософии Россия, темы русской святости (в первую очередь, св. Серафим Саровский) и русской гениальности (Пушкин, Достоевский, К.Леонтьев). В этот период написаны пьесы «Русское море», сборник «О наречении патриарха» и др.

С конца 1970-х и до конца жизни важнейшим способом творческой реализации для Шифферса становится найденная им форма «преодоления Гуттенберга» – рукописные тетради.

В последнее десятилетие жизни Шифферса главной темой его размышлений стали жизнь и гибель семьи Николая II. В 1991 году он снял фильм «Путь царей» – мистическое расследование убийства в Екатеринбурге.

Позднее результаты работы над этой темой оформляются в виде особого рода сборников, «папок» – «Свастика святой Аликс», «Самадхи», «Анафема. Убийство. Имущество».

Обдумывается проект шестисерийного фильма, продолжающего расследование, начатое в «Пути царей». Осуществлен только тридцатиминутный видеофильм «Путь царей. Расследование» (9 марта 1997 года), ставший своего рода завещанием Шифферса.

15 мая 1997 года Е.Л. Шифферс умер от третьего инфаркта.

«Роман» «Смертию смерть поправ» (сам Шифферс обозначал жанр произведения и этим словом, и другими, такими как «мифема», «мениппея», или даже просто называл его «странной книгой») имеет довольно длительную и непростую историю.

Насколько известно, первыми были написаны две включенные в его состав как произведения главного героя, писателя Фомы, пьеса «Круги» (1964) и сценарий «Числа» (до 1967). В августе 1967 написан рассказ «Вера», также включенный в роман в несколько измененном виде. Роман, как уже было сказано выше, писался во время съемок «Первороссиян» и – «трансвыми всплесками», по характеристике Шифферса – зимой 1967–1968 года в Тарусе.

Позже других была написана третья книга, «Версия о трансмиграции», – тезисный трактат, излагающий представления автора о жизни и смерти уже не в художественной, а в дискурсивной форме.

Творчество Евгения Львовича Шифферса остается пока практически неизвестным. До сих пор опубликованы лишь крохи из его обширного наследия. Так что данную книгу и выходящий одновременно том «избранных религиозно-философских произведений», вполне можно считать первым достаточно представительным изданием этого удивительного писателя и мыслителя, безусловно одного из выдающихся представителей русской культуры XX века.

Своей очереди ждут ранняя художественная проза Е.Л. Шифферса, его театроведческие работы и эссе о художниках, несколько ранних богословских произведений, не включенных в том избранного по соображениям объема, «папки» и дневниковые «тетради», требующие большой редакционно-издательской подготовки, режиссерские разработки к спектаклям, поставленным и не поставленным, записи лекций Шифферса и его выступления, письма, а в конечном счете и черновики и наброски – поскольку, как сказал некогда Александр Сергеевич Пушкин, «нет ничего более занимательного, чем следить за мыслью великого человека».

Владимир Рокитянский

Книга первая Автобиография

*Под напором тройякого страдания возникает стремление к
познанию устраняющего его средства.
Санкья– Карика*

Часть первая

Глава первая

Когда его спросили, кем бы он хотел быть, он сказал, что хотел бы быть среди тех, кто не родился

Мальчик родился в большом городе; говорили о его большой и уродливой голове, и как это испугало мать; родственники отца говорили, что он все же будет красив, в нем есть порода.

Решили ждать.

Мать забоялась мальчика сразу и на всю жизнь, она знала, что он помнил в детстве и никак не забывал во взрослости, зачем же это она испугалась его шишковатой головы с редкими кустами волос во впадинах, отчего сами шишки делались уж слишком светлы, и бесстыдны что ли. Она узнала, что он слышал и запомнил, как она злобно кричала, когда выталкивала его жить, она и боялась его поэтому, а он трогал губами грудь, что не хотел же, правда, ведь он не сам, чего уж его винить. Он смотрел ей об этом грустно, когда она щипала его, чтобы услышать плач, узнать его слабость и беззащитность, и молчал, молчал, молчал, что знает.

Она узнала, что он тоскует о прошлом и тихо скулит, когда все спят, скулит, зная, что его никто не услышит, а она вот слушала и боялась; вставала; и он сразу затихал, а она догадывалась, покачивая головой, что о прошлом, куда никому нельзя, она и сама так делала.

Быть может, всего этого не было, быть может, она все это придумала для мальчика, когда умирала, а он просто сидел у кровати и ждал, когда уж она.

Глава вторая

Да, да, он так и сказал: я хотел бы быть среди тех, кто не родился

Отец задал мальчику этот вопрос однажды, когда было свободное время, по случаю какого-то праздника. Собирались шутить приглашенные, мальчик был нарядно одет и стрижен на пробор, отец носил мальчика на плечах, смеялся его нарядности, хорошо проведенной ночи с женой, себе, еще не старому, празднику, запахам еды, женщинам, которые курили, готовились есть и продолжать.

Отец поставил мальчика на шахматный столик, поправил штанишки, которые задрались и смялись от неудобного сидения на шее, игриво спросил, чтобы все услышали ответ: Ну, а кем ты хочешь быть, старина?

Мальчик нашел среди курящих женщин мать, подождал, когда она стала смотреть только на него одного, сказал: Я хотел бы быть среди тех, кто сумел не родиться. Мальчик искал себе мать, ему хотелось, чтобы она была постоянно с ним, ему надо было как-то приязать ее к себе.

Потом, когда он стал взрослым, он говорил не стыдась, что страх матери в глазах, ее болезнь от него, были сладкими и пронзительными, как многие женщины, которые были с ним потом; этот страх грустил и тосковал в нем, маленьком мальчике в коротких вельветовых штанах, давал его глазам мертвый покой больного зверя, скулил и бился в горле дыханием. Он был маленьким и не понимал, что можно прекратить такой покой уходом назад, как делают многие, когда сильно устают; он уже знал, что поймет когда-нибудь эту возможность, может быть, даже скоро, но пока не умел ее; и грустил, и искал мать, чтобы спастись от испуга, чтобы найти силу; и что-то подсказало ему верную возможность выжить и преуспеть: найди и имей, тем или иным путем прими власть, найди и прими, и тогда спасен. Нет, он ни в чем не может себя упрекнуть, вот здесь у постели матери, которая утомилась, а все же цепляется за жизнь и ищет предлога, ищет виноватого, боится и кричит о нем, который не находит в себе нежности, и ждет просто, когда уж она. Когда мать отделилась от дыма и от женщин в дыму, мальчик спрыгнул с шахматного столика, упал на красном паркете, неловко и испуганно поднимался на четвереньках. Мальчик знал, что отец понял его власть, понял блеск, который пришел в мертвые глаза сына, понял голод и радость насыщения, понял все; мальчик знал, что отец убьет сейчас, не может не убить; и боялся, стоя на четвереньках, и молчал, и искал выхода. Нет, пожалуй, этого не могло быть тогда, нет, он тогда никого не боялся, страх пришел позже, когда его просто били приятели, били подробно и больно за что-то, чего он никак не мог взять в толк. Казалось, что он всю свою жизнь скользил и поднимался с четверенек, причем приходило это ощущение всегда в победы, так что он никогда не знал их радости, но отмечал всегда, что вот надо бы, а он опять лезет под стол и трет колени в красный воск паркета, и ладони тоже красные и противно жирные, сколько ни три их о вельвет. Отец вытащил мальчика из-под стола, поднял его высоко к огню лампы, крутил его там и смеялся, а мальчик думал, что отец намного слабее его. Это потом ему часто мешало, потому что он жалел отца, а там, где есть жалость, нет власти; так мальчик узнал другую власть над людьми, власть беззащитности; он всегда искал в себе ЭТУ власть, он хотел, хотел быть беззащитным, но что-то никогда и никому не позволяло поверить в эту его беззащитность, всегда обрекало его на силу, которая была уже не нужна, так как он понял скоро, что и его власть над матерью, вся сделанная из ее страха перед ним, власть быстрая, но непрочная, ой, непрочная, потому что очень скоро хочется власти над равным, а не над униженным, хочется власти, добровольно и радостно предложенной.

Он склонился над матерью и заскулил, а она, как и много лет назад, сразу начала сбрасывать одеяло, чтобы встать к нему, чтобы погладить по одичалому лицу, успокоить, а он стал заталкивать мать назад в постель, потому что нельзя вставать; она хрипло кусала его руки, рвалась, слабела, забывала, сидела, тихо и прямо свесив ноги; ждала в тишине, не заскулит ли опять, чтобы опять кинуться куда-то. Он попытался согнуть мать в постель, но она оттолкнула его резко босыми ногами, он поскользнулся и упал на паркет, а она быстро укрылась одеялом, испугавшись сильно; он вставал с четверенек, и ему показалось, что саднит голые колени, а потом он вспомнил, как тогда на красном паркете он молчал о жажде подняться рослым и сильным, чтобы суметь ответить отцу, который сейчас будет его убивать. Он поднялся с колен, увидел испуганный глаз матери в одеяле, и запомнил его.

Глава третья Мольба о сне

1.

Дай мне сон, молчал он, дай мне сон, дай.

2.

Дай, чтобы утихла голова, дай.

3.

Дай, ведь у меня ничего нет в этом пути без остановок, дай.

4.

Посуди сам, что мне делать? Я все забыл, у меня ничего нет, кроме мыслей о чем-то, кроме сравнений с чем-то, но даже этого «чем-то» через секунду нет, потому что оно уж осмыслено, познано, и его нет. Но так же нельзя? А? Нельзя, я не выдержу.

5.

Дай же, дай же мне сон, дай. Я обещаю тебе, только секунду роздыха надо мне, а там я опять готов в путь. Дай же мне сон, дай.

6.

Дай, я не выдержу.

7.

Послушай, я понимаю, что тебе наплевать на одного, на какого-то одного, который устал. Но я ведь всех ближе к тебе, я ведь не ропщу о том, что ты дал мне, не ропщу и о плате, которой плачу всем без обмана.

8.

Другие б роптали, они ропщут даже о том, что другой такой, не то, что сами. А я принял, что сам человек – ничто, что тебе нужны только его мысли, чтобы изгнать воздух, и все.

9.

Что ты еще просто терпишь все стадо людское, раз уж так случилось, что то, что решило мыслить, поселилось в двуногого.

10.

Я прошу сна, секунду сна, секунду передыха, уже нет сил, понимаешь, человечьих, двуногих сил.

11.

А ты ведь, дав одно, не дал другого: ты оставил меня человеком, просто человеком среди подобных?

12.

Дай мне, дай, я не выдержу.

13.

Ты же не сделал меня солнцем, не сделал пчелой в улье, ты оставил человеком, который ел мать в детстве, так неужели тебе не жаль меня, ведь я прошу так мало, только немного сна?

14.

За все, что я забыл, за дом, за друзей, за любовь, да просто за всех людей?

15.

Немножечко сна, а?

16.

Ведь упаду в пути, и не сделаю всего, что смог?

17.

Передохнув?

18.

Дай мне сон, дай, ведь я схожу с ума.

19.

Или и это неважно?

20.

Раз надо проверить, что такое сумасшествие и сколько правды можно принять, пока не сойдешь с ума?

21.

Так знай же тогда, получай, я не дам тебе этого знать, я убью себя сразу, как только пойму, что пора.

22.

Дай мне сон, дай, поверь, слишком мало пойдет людей на то, на что пошел я, и ты же знаешь, что пошел осознанно, а? Ведь тебе не нужны те, что не ведая творят, и ищут смерти, как ребенок сиську?

23.

Тебе нужны твердые, которые смогут приручить людей к смерти, когда придет пора, освободив их от всего, от чего ты сейчас, так рано, так рано, так рано, освободил меня.

24.

Так рано?

25.

Чтобы правда иссушала жизнь, и звала, и учила смерти?

26.

Ты же знаешь, я ничего не щадил, я все проверял, все искал, везде мерил такой мерой, какую люди не могут понять, называют проклятой, и она смертельна для них сейчас, для их обществ, их морали, всего, что придумало то, что решило мыслить, чтобы обеспечить себе

жизнь, просто жизнь в длительности, раз еще рано. Я же мерил твоей мерой, хотя я такой, как они. О, прости, тебе ведь этого не понять, да, да, и не мне пенять на это.

27.

Разве дрожит рука конюха, когда он гонит влюбленного зверя прочь от подруги, раз ему нужна иная порода?

28.

Разве конюх думает о коне?

29.

Ладно, я понимаю это, и не хочу, чтобы создалось впечатление, будто я ропщу на меру расплаты, меру одиночества человека, который все растерял, что связывает его с людьми, и еще ничего не нашел, совсем ничего, чтобы сравняться с тобой?

30.

Я просто прошу тебя, дай отдых, маленький-маленький, как в детстве.

31.

Почему я?

Глава четвертая

Ему никто никогда не отвечал

Хотя он всегда ощущал, что мог бы получить ответ, если б нашел, как спросить. Когда он появился внутри матери, и его стало ткать и баюкать чужое сердце, он ощутил и запомнил серьезно, что если бы даже очень хотел, то все равно не смог бы остановить ЧЕГО-ТО, что росло и приказывало делать так или иначе, явно торопясь успеть к какому-то сроку, ЧЕГО-ТО, что своей спокойной и наплевательской незаинтересованностью в его мнении приказывало слушаться, и даже не приказывало, а просто не сомневалось, что может быть послушание; и действительно, таких примеров что-то не слышать. Итак, после положенного срока обучения, он родился. Его назвали Фомой. Фома не хотел открываться, он упирался, так как уже знал, что спор с этим ЧТО-ТО бессмысленен и утомителен, что здесь все дело только в сроках, когда ты совсем устанешь от долгого боя. В могуществе ЧТО-ТО Фому укрепляло и то, что сидя там внутри, когда к тебе всерьез никто не относится, вроде тебя вовсе нет, и не стесняются в мыслях, речах, суждениях, он многого наслушался. Кровь приносила Фоме, кроме пищи, горечь слез существа, которое он потом будет звать мамой, его недовольство уродством, его страх перед сроком, к которому торопилось ЧТО-ТО, и Фома принял уже тогда слабость этого существа, а ведь Фоме надо было быть его сыном. По-этому-то он и говорил, что хотел бы быть среди тех сильных и победивших, которые сумели не открыться. Потом, когда он рос, учился понятиям, забыв в крике матери все, что успел узнать раньше, принимая эти новые понятия, даже с верой споря об их истинности, он всегда знал, Фома, что надо как-то поднатужиться, как-то пересилить что-то в себе, чтобы или вспомнить, или узнать в новую новь, как спросить, чтобы все же услышать ответ. Фома понимал, что спорить, сердиться на спокойное ЧТО-ТО не стоит, а тем более он уже знал, что его мать существо слабое, и потому стал молча, никогда не плача, с тоской и упреком смотреть на мать, — что ж, мол, ты так, а? Поэтому мать щипала Фому, даже не кормила вовремя, чтобы он плакал, чтобы только не оставаться в тишине и одной с его собачьими глазами. Но Фома молчал. Думал, как спросить.

Думал Фома и вечную тоску по женщине, по другой, чем он, по иной своей сути, которой он мог бы стать и которую будет всегда искать и терять, чтобы вновь искать. Искать, чтобы убить часть себя, разделиться надвое, так, как это было давно и не им решено. Его руки, его глаза, нос, походка, так же, как раньше кровь, сердце, перебивы дыхания, думали и удивлялись этой второй жизни, жизни ЧТО-ТО, удивлялись иногда спокойно и ласково, но чаще тревогой и перехватом в горле, тоской, почти не проходящей, а потому и принимаемой даже самим Фомой за мерное довольство, за течение жизни, он смешно дорожил даже этим течением, этой ровной глухой тоской, но, правда, и знал всегда в себе далекую жажду кончить, прервать любым способом власть над собой этого ЧТО-ТО, а потому узнать его до конца, до прозрения, чтобы, наконец, спросить и услышать ответ. Фому удивляло, что ЧТО-ТО в нем хочет есть, боится темноты, не любит резких звуков и запахов, боится холода и ищет тепла, он твердо знал, что это именно ЧТО-ТО, а не он сам. Фома смеялся знанию молча. Он почти все делал молча, потому что умение молчать было все же его, Фомы, умением, кричать и звать Фома не хотел, а ЧТО-ТО всегда хотело, а Фома смеялся и молчал. Зубы лезли из Фомы, ладони и ступни росли больше и заметнее, падать делалось все большее и большее, и ничего с этим поделать Фома не мог, но вот не выдать себя криком, когда боль, а ЧТО-ТО кричит во все горло внутри, не выдать Фому, он умел и гордился умением, если вообще умел гордость и честолюбие. Боль и усталость вечной борьбы со ЧТО-ТО, борьбы, которую он начал еще до рождения, долгую и терпеливую бесполезность которой он в себе ощущал, так же, как и невозможность не борьбы, боль и усталость легли в Фому собачьей печалью глаз.

Но была в них и холодность, спокойная неподвижная холодность покорного человека, который не умел сразу, не умеет, не будет уметь жить иначе, чем решит сам, чем решит Фома, а не ЧТО-ТО вместо Фомы, даже если это его сердце, его руки, его поиск тепла. Эта покорность, при всей ее беззащитности, не позволяла людям жалеть Фому, а учила их бояться его и не любить, так же остро, как боялась его, не любила его, потому что знала, что не нужна ему, родив, мать Фомы, потому и кричала, что поняла сразу, как только стала вырывать его из себя, что не будет нужна серьезно, что и нужна была только, чтобы родить. И люди, глядя в мерную покорность Фомы, тоже сразу и остро ощущали свою никчемность перед ним, свою ненужность Фоме после того, как он узнает их, как узнал мать, пока готовился открыться жизни, и как забудет их, как забыл ее. Это пугало и оскорбляло людей, они не могли с этим согласиться, и били его подростками в детстве, убивали женщиной, законами, убивали привязанностью Фомы к ним, к идеалам, к дому, к земле.

Он повернулся и посмотрел на мать, которая сделала какой-то звук; она все так же смотрела на него глазом, и там копилась слеза, это было странно, Фома отметил эту странность, а мать опять сделала звук и уронила слезу. Фома понял, что мать смеется над ним, клокочет звуком, а глаз плачет сам по себе, может, чтобы испугать Фому, а может, просто так. Фома понял, что мать догадывается о его нетерпении, что она немного покричала от обиды, а теперь вот увидела смех во всем этом: сидит Фома, и ждет, когда уж она, а она не торопится, и даже не может сдержать смех. Фома подошел и вытер слезу, а потом склонился и поцеловал мать в щеку, мать понравилась Фоме своей веселостью. Щека была упругой и ласково прохладной, тогда Фома закрыл матери глаза, вышел на цыпочках в другую комнату, и объявил смерть.

Глава пятая

Сорок дней будешь страдать

Когда Фома вошел в комнату и объявил, там пили чай. Люди, которые пьют чай, мало о чем помнят в это время, их занимает, горяч ли чай, они дуют на блюдца, ждут, когда растает

сахар; люди, которые пьют чай, помнят только о чае, забыв даже, где они и что, и почему пьют. Сообщение Фомы всех устыдило своей простотой и конкретностью, к тому ж все эти люди часто упрекали Фому в черствости и прочем, и вдруг так обмишурились сами. Фома ждал, когда же они вспомнят, что его мать умерла там в соседней комнате. И люди опять почувствовали неловкость, так как поняли его ожидание, его знание. Одним словом, никто не заплакал сразу, а теперь вроде бы и неудобно, сочтут, что врешь.

Все это и создало настоящую тишину, которая была необходима матери Фомы, чтобы сказать: **СОРОК ДНЕЙ, СЫНОК, БУДЕШЬ СТРАДАТЬ.**

Фома услышал эти тихие слова у себя на правом плече, он повернул ласково подбородок к плечу, чтобы не вспугнуть существо, доверчиво и тепло устроившееся на нем, невесомое, улыбочное, которое он за незнанием иного отметил для себя матерью, хотя сам закрыл ей глаза. Фома поднял ладонь крышей домика к плечу, прикрыл мать, и тихо, чтобы ее не сдуло, ушел прочь.

Глава шестая

Сорок дней, сынок, будешь страдать

Фома, когда услышал голос матери, немного глухой и ломкий в сравнении с живым, но какой-то более внятный, несущий только то, что хотела сказать мать, только саму суть, без воркотни обошщения, раздражения, или прочего чего, обрадовался открыто, светло, словно долго ждал, сам не ведая длительности и важности ожидаемого, но вот дождался, понял, что только этого и ждал, понял, какую меру мог бы терпеть, чтобы все же дождаться, и вдруг на тебе, так светло и быстро пришло само. Фома осторожно пошевелил рукой и услышал: не бойся, сынок, я не потеряюсь, и ветром меня не сдует, не бойся, я другая теперь, совсем другая, я, она тихо и тепло рассмеялась, я, ты не поверишь, кусочек солнца теперь, потому так и тепло твоему плечу, на котором я примостилась.

Глава седьмая

Сорок дней будешь страдать, сынок, сорок дней

В ее голосе было только то, что она хотела сказать, только чистота смысла и все. Не было ни обычного страха, хоть и очень глубоко запрятанного, не было желания уберечься, понравиться и защититься, которые всегда есть в голосах людей, ничего, кроме некоторой хрипотцы и маленького эхо, чуть-чуть запаздывающего, печально удлиняющего слова и их смысл, совсем маленького, говорящего, что там, где родились в этот раз слова, тихо и пустынно, и громкого эхо, и громкого звука не надо. Была в голосе матери и спокойная незаинтересованность в том, услышат ли ее, поймут ли, – услышат, поймут. Фома уже знал однажды такое спокойствие, знал и хорошо помнил: это было спокойствие ЧТО-ТО, которое жило вне его, шевелилось, а когда Фома стал частью его, стал той же породой, распорядилось, что быть Фоме человеком, мужчиной, раз так соединились в нем количества ЧТО-ТО, раз так пришлось, а не иначе, ни в камень, и ни в овцу.

Фома притих в радости, что дождался, что вот спросит сейчас, что давно хотел, и услышит ответ. Да неужели ж случится это, да неужто возможно такое, и кто же, кто ему ответит и поможет, кто? Его мать, слабое существо, которое он давно не воспринимал всерьез, давно, когда еще был внутри ее, как же так, неужто надо было умереть матери, чтобы он смог спросить и услышать? А она смеялась, она радовалась, уже зная, что станет нужна Фоме, станет **ОПЯТЬ** нужна сыну, и приняла улыбочиво смерть, и спокойными и ласковыми в прохладе стали ее щеки, убитые им щеки.

Фома взял в себя резкую, полную в зрелости боль.

Глава восьмая

Сорок дней, сынок, сорок дней

Мы с тобой знакомы давно, сынок, даже раньше, чем об это знаешь ты. Ведь я знала тебя еще до того, как ты поселился внутри меня, стал прислушиваться ко мне, пить мои слезы, вначале жалеть мою слабость, а потом презирать ее, о, я знала тебя задолго-задолго до того; я знала, что ты будешь во мне, мой сын, сразу, как только узнала, что я выйду в мир женщиной, вот видишь, как долго ты был со мной, как хорошо я готовилась к тебе, видишь, как печально было узнать мне, что я не буду тебе нужна. Ты тихо-тихо слушал наши разговоры, думал, что никто не знает о тебе, хихикал своему знанию, слушал и мудрел, копил нежелание быть; а я знала обо всем этом, понимаешь, знала, не так, конечно, чтобы определить это вашим языком, вашими понятиями, нет, я просто знала, что ты уже настоящий человек, более настоящий, чем будешь потом. Я никогда не скрывала от тебя наших споров в жизни, не скрывала обид и уродства, не скрывала, что твой отец ходит к другим женщинам от нас с тобой, от моего большого живота и пятен на лице, я хотела, чтобы ты знал все и решал сам, как и что. Я понимала, что с этой моей открытостью, моей откровенностью, моей слабостью входит в тебя снисходительность ко мне, входит горечь и нежелание, и многое другое, от чего ты будешь потом, взрослея, страдать, за что будешь меня не любить, меня, понимаешь, меня, которая все знала, которая была твоей матерью, делала все для тебя, зная, что ты этого не простишь.

Но я не могла иначе. Я не боялась никого, даже тебя, хотя ты всю нашу жизнь вдвоем твердо верил, что я боюсь тебя. Я тебя обманывала, сынок, так как видела, что тебе трудно в этом страшном мире, который ты увидел, надо понять власть, найти и принять, как ты думал себя потом, вот я и решила, что, почувствовав власть надо мной, приняв мой страх перед тобой, ты утвердишься, станешь сильным и гордым на время, а, значит, останешься жить на время, а там уж сама жизнь не отпустит тебя, не отпустит ЧТО-ТО. Я была рабой твоей, мой сын, добровольной рабой, потому иногда, совсем иногда, сынок, я не любила тебя.

Глава девятая

Сорок, сын, сорок дней будет печаль

Как я кричала тебе, чтобы ты не рождался, как ты цеплялся за мое нутро, чтобы остаться, и как мы оба ничего не могли поделать со ЧТО-ТО, что равнодушно и покорно давило мой живот, не оставляя тебе там места, как мнем мы пальцами пасту, зубную пасту, когда моем зубы перед сном?

А тебе казалось, что я кричала от испуга, от твоей большой шиш-кастой головы? Но ничего, не грусти, тебе тоже много раз удавалось обмануть меня, много раз, когда ты ел мою грудь, и сладкая сладь приходила в меня, туманила мне голову радостью, что нужна тебе буду всегда.

Мы с тобой много думали обо всем, сынок, я всю свою жизнь и ты всю свою, потому у тебя в глазах холод и покорность, которые люди называют великой гордыней, отравляя тебя мелочами, тебя, моего малыша, отравленного и так ядом? Нет, нет, не жалея себя, сынок, не давай себе отдыха, СОРОК ДНЕЙ БЫЛ УГОВОР, СЫНОК, СОРОК ДНЕЙ.

Глава десятая Мольба о полной мере

1.

Так дай мне полную меру, взял он себя за плечо, дай.

2.

Ударь меня болью, ударь.

3.

Такой, чтобы я забоялся стеклом, что вот меня разобьют.

4.

ДАЙ.

5.

Такой, чтобы я забоялся травой, что вот уж и мой серп.

6.

Нельзя же так, посуди сам, чтобы искать боль, когда всем ясно, что она должна быть, пора бы уж ей прийти, ведь умер тебя родивший, или тебя нашедший, или тебя согревший. А ты все еще ищешь ее, свою боль, и досада, что нет ее, портит дело.

7.

Или это тоже боль?

8.

Так дай тогда полную меру, меру, которая бьет лед солнцем.

9.

СОЛНЦЕМ?

10.

Дай тогда полную меру чтобы вместо боли пришла уж радость?

11.

Дай мне такую меру дай, и я забуду мольбы о сне, пусть буду проклят совсем, дай мне твою меру, меру радости приобретшего, а не потерявшего, дай, и не стану кричать тебе, и молчать тебе, об усталости, и о сне.

12.

ИЛИ РАДОСТЬ ТАКАЯ – СМЕРТЬ?

13.

Так дай мне смерть, я прошу тебя, дай, дай, я ведь не вру, когда зову о смерти, а сам хочу продолжать?

14.

Ведь нет?

15.

Ты же знаешь.

16.

Потом ведь я сам могу, понимаешь, вот где собака зарыта, я могу прекратить себя, но ведь я не хочу умереть, я хочу принять полную меру, принять радость и насладиться радостью, когда все живое в людях отвернется прочь от меня, раз я молю о таком.

17.

Вот, что я имею в виду, когда говорю, что моя радость – СМЕРТЬ?

18.

ПОНИМАЕШЬ?

19.

И дай мне такую меру, дай.

20.

Дай мне принять.

Глава одиннадцатая Я слышу тебя, сынок

В ее голосе было только то, что она хотела сказать, только чистота смысла и все, только прохлада сути, легкий-легкий озноб смысла, прохладная хладь сути, – вот и все, что было в ее голосе. Отпусти свое плечо, сынок, левой рукой отпусти правое плечо, где у тебя тепло сейчас, отпусти скрюченные пальцы левой руки на правом плече, отпусти пальцы, они устали, да и правому плечу больно, сынок, так отпусти плечо, пусть его, пусть отдохнет. Правая рука пишет тебе слова, правая рука держит тебе ложку с супом, отпусти ее начало, сынок, отпусти плечо, пусть рука будет крепкой, как надо, пусть себе, причем здесь она. Вот ты хочешь снять скрюченные пальцы прямо так, вверх, не разжимая их, хочешь вырвать крик из правого плеча, хочешь вырвать боль, хочешь узнать ее, но разве такую звал ты, разве такую простую-простую-людскую искал ты, так не сердись, и отпусти плечо, ну, разожми белые усталые пальцы левой руки, опусти их вниз, чтобы кровь принесла свои живые уколы, и пошевели несколько раз туда и сюда пальцами, и сожми их несколько раз в мягкий и ватный кулак, а теперь еще и еще, пока кулак не станет прежним, а тогда пусть левая рука возьмет тихо усталую правую и положит ее между твоих колен, сынок, пусть они полежат, сынок, немного отдельно, пусть сами вздремнут, а ты посиди, сядь, сядь, устрой их поудобнее, вот так, и посиди, посиди, посиди, прикрой глаза, посиди, посиди, посиди. Вздремни тоже.

Глава двенадцатая В ее голосе было только то, что она хотела сказать, и она повторила: Я слышу тебя, сынок

И я слышала тебя всегда, вот ответить так, как хотел ты, не могла, это правда, не умела, но слышала всегда, и знала всегда, что все же когда-нибудь смогу ответить так, как ты хочешь

услышать, знала и ждала, когда сумею, когда умру, чтобы суметь. Каждый из нас слышит только себя, это старая банальная истина, настолько банальная, что похожа на правду. Каждый из нас слышит только то, что хочет услышать, и ты знаешь, сынок, в этом есть свой охранный смысл. Чтобы услышать и принять ответ до конца, надо спросить мертвого, и тогда его ответ будет твоими и только твоими мыслями, и он удовлетворит тебя.

Любой ответ живого, даже если он тебя устроит, то есть будет услышан тобой, то есть ты захочешь его услышать, потому что он подходит тебе, любой ответ живого все же не будет принят до конца, однозначно, будет мешать голос живого, голос другого, а каждый из нас в конечном счете верит только себе, если вообще умеет веру. И вот сейчас ты слышишь мой голос, ты даже определил, успел, как всегда найти точное определение, сын, определил, что в нем нет ничего, кроме смысла, чистого смысла, и хотя ты кокетничаешь мною, умершей твоей матерью, ощущаешь тепло на правом плече, прикрываешь меня левой рукой, унося из комнаты, все же ты просишь, что это только твои мысли, твои страхи, твоя совесть, ты твердо веришь в это, мой сын, потому позволяешь себе и мольбы в молчании о сне и о полной мере, ты все же, как все, сынок, веришь в свое особое людское назначение на земле, просишь полной меры, чтобы потягаться со ЧТО-ТО, потягаться, потому что смеешь по-людски искать спора, смеешь искать муку победы в споре, потому что ничем, все же совсем ничем не отличаешься ты от людей, сынок, от того, что сделало из тебя ЧТО-ТО, соединившись в три+две свои части, да еще тепло, да еще звуки и солнце, а что бы было с тобой, сынок-человек, если б ЧТО-ТО соединилось, ну, скажем, в четыре и одну свою часть, что бы было с твоим людским самолюбием и чванством, сынок, если б ты получился пчелой?

Ты искал полную меру, сынок, вот она, твоя полная мера: нету ЧТО-ТО, ты и есть ЧТО-ТО, нету людей, нету муравьев, нету камней, нету любви, нету морей и нету солнца, есть только части ЧТО-ТО, так или иначе соединившиеся в разное, в глупое у одних, покорное у других, нету иного ЧТО-ТО, с которым ты мог поспорить, кроме самого себя, так ищи же себя, сынок, кричи свою муку в мире, рви свое сердце, сынок, если сумеешь теперь, если сумеешь, сынок, если захочешь, сынок, твердо зная, сынок, что нету, ой, нет людей, что нету, ой, нет любви и дома, что все это, все, ой, все, сынок, охранная грамота ЧТО-ТО, которую она кинула в мир вместе с тем, что соединилось в людей, чтобы дать им жизнь, и взять у них смерть, которая другая жизнь ЧТО-ТО, другая, иная, сынок, такая же нужная ЧТО-ТО, как и трава, и лес, и запах детей, сынок.

Вот, что я сумела сказать тебе, сын, сумела умереть, чтобы проверить такую правду, чтобы ты услышал ответ, раз тебе никто никогда еще не отвечал, а ты всегда знал, что надо как-то суметь спросить и тогда услышишь ответ, как-то суметь, и ты сумел, – ты принял мою смерть и взял ответ. Теперь уж я не твоя мать, сынок, теперь я другая часть ЧТО-ТО, и могла бы взять тебя сейчас же сюда, но не пришла пора, хорони скорее мертвецов, человек, а то они заговорят тебя твоими мыслями до смерти.

Всего лишь сорок дней наш срок, сорок дней, а может, сорок сороков, это ведь как посмотреть, какой мерой смерить, а, сынок? Теперь уж я не твоя мать, сынок, видишь, я даже уже разок назвала тебя просто человеком, сынок, это все потому, что я освобождаюсь от тебя, и ты знаешь, ты знаешь, это большая радость, я даже больше не сетую, что кривилась в боли тобой, если бы не было боли, разве было бы от чего отдыхать?

Ну, поднимайся с паркета, сынок, поднимайся с четверенок, сынок, ты просил узнать, ты узнал, и ты знаешь, что самое смешное, сынок, а?

Ты узнал это, узнал вот такое, и теперь, что бы ты ни говорил себе, как бы ни искал забытья, или отказа, найдя много доводов против, все же, поверь мне и не трать силы, ты никогда уже не сможешь избавиться от этого, от этой своей правды, потому что это твоя правда, ты ее сам нашел, она твоя и только твоя, понимаешь, и ты избавишься от нее, от такой формы ее, только когда найдешь свою смерть.

Но и там ты будешь искать все сначала, потому что я забуду тебя, как забыл меня мой отец здесь. Ты будешь один искать все сначала, искать, то есть быть частью ЧТО-ТО, которая ищет свою другую часть.

Глава тринадцатая

Фома взял молоток и сказал: Дайте-ка мне гвоздь

Зимой на кладбище хорошо. Зимой здесь все равны, все присыпаны снегом; гранитные памятники и деревянные кресты, – все одинаково мерзнут. Живые продолжают выяснять отношения, сортируют мертвых по чину, достатку, вере или безверию, еврейству или нет.

Но зимой, зимой, зимой на кладбище хорошо, не видно жирных цветов у одних и чахлой печали у других, ограды все одного морозистого тона, и люди, которые все одинаково дышат на холоде, одинаково седеют инеем, тоже становятся похожими друг на друга, похожими на самих себя, на людей, без яркой защитной окраски. Зимой на кладбище хорошо, тихо. Люди больше молчат зимой, боятся застудить горло, да и сами звуки их слов много тише, проще, осмысленнее в тихом скрипе валенок на снегу, потому что бродят обычно зимой по кладбищу старухи и дети, которым не в стыд, а в тепло, валенки и калоши на них. А тем, кто пришел хоронить, холодно и неудобно, они стыдятся, что думают о холоде и о скорости всех этих дел, казнят себя, делаются строгими и подтянутыми, без шапок у них мерзнут лбы, и они испытывают незнакомый шорох благодати и предчувствия, а когда слышат в тишине снега скрип и вдруг звонкий всплеск детской нелепости, то уж и готовы заплакать от одиночества, да и оттого, что завидно и в удивление спокойствие мертвого на морозе, его прежняя красивая бледность, когда уж все посинели и помокрели носами, да и видно четко на морозе, что он один не дышит, бездыханный лежит, бездыханный. Фома взял у служителя молоток и сказал: Дайте-ка мне гвоздь.

Глава четырнадцатая

Дайте еще, я этот уронил в снег

Зимой пришедшие хоронить наглядно видят, что тот, с кем они прощаются, действительно отбывает куда-то в другое, иное, коричневое и теплое, открывшееся земляной норой на белом покое. Они забрасывают их вместе, дыру и человека, чтобы увидеть, как все же задышит укрытый паром земли, увидеть и обрадоваться, что вот сравнялись, сравнялись все же и с тобой, задышавшим. Фома уронил гвоздь в снег, он юркнул иглой от Фомы далеко, и Фома сказал: Дайте еще, я этот уронил в снег.

Ему дали.

Фома сказал, что давайте уж.

Мать прикрыли крышкой, и Фома присел на колени, чтобы забить гвоздь. Руки у Фомы застыли еще когда несли, потому он никак не мог верно пристукнуть, резко и определенно, чтобы не гнуть гвоздя, а вогнать его сразу по шляпку Фома нервничал от своего неумения, старался, вспотел, промочил коленку на снегу, и забыл, ой, совсем забыл, кого он, Фома, заколачивает и зачем трудится здесь. А когда вспомнил все же, то отметил про себя ОХРАНОСТЬ всей этой человеческой суеты по мертвому, когда многие мелочи спасают оставшегося живого от разговоров с собой, от себя и тоски, спасают на малую малость, чтобы опять жизнь сумела взять свое, сохранить, не уменьшить количество. Фома кинул клок земли вниз, испачкал руки, но вытирать их не стал, отметил про себя, правда, что не стал, и опять на секунду забыл, где он и куда бросил горсть, а только ощущал, как приятно схватывает мороз влажную и теплую землю, скручивая пальцы, потом устыдился, что знает и все же не вытирает пальцы, нагнулся в снег, потер руки, разогнулся, увидел перед собой дорогу, и пошел

по ней, обратил внимание, что идет к выходу, но не подумал, что вот он идет скорбно, бросив всех у могилы, и они печально смотрят ему вслед, а он идет, забыв обо всем в печали, нет, Фома не открыл этого в себе, он шел, снег скрипел у него под ногами, стыли чистым холодом снежные руки, Фома понял, что идет к выходу, нашел выход, сел в машину и уехал.

Глава пятнадцатая Фома читает вслух

Ну, что? Почитать тебе вслух пьесу, которую я не так давно сочинил, – спросил Фома у женщины, к которой приехал с кладбища, с которой ел и спал эти дни, пугая ее криком о помощи и спасении. Женщине было немного лет, да и знала она Фому мало, всего несколько дней до того, как у него стала умирать мать.

Когда ж ты успел написать, – спросила женщина, когда увидела, как Фома достает какие-то клочки из карманов, долго сортируя их, разглаживая и укладывая. Да и вообще, – добавила она, – ты что, писатель?

Ирина, – сказал Фома, – мы все писатели. А сочинил я это, чтобы не умереть, пока сидел в ожидании у матери, это ОХРАННАЯ грамота, понимаешь?

Ирина кивнула головой, она решила, что лучше Фоме не перечить, да и жила в ней мудрость всех женщин, пусть себе мужик чудит, был бы покоен и ласков с ней. А Фома был ласков с Ириной, и его определенную неподвижность и нешумность запросто можно было принять за покой.

Он сказал: Пьеса называется «КРУГИ», слушай, когда надоест, скажи. И начал.

Человек пришел домой около часа ночи. На его дверях была приколотая записка. Он прочел ее и сразу же побежал искать такси, хрипло дышал и бежал от одной пустой стоянки к другой. Как хорошо, что он не пошел на этот раз к женщине, что он вернулся и успел прочесть записку, а то бы, не заходя домой, прямо на работу, а записка бы так и висела, и соседи бы ее выучили наизусть, а потом сообразили бы позвонить на работу, и он стоял бы с непонятым лицом, пока слушал бы, что его мать при смерти и хочет его повидать, а потом прибавили бы, что записка висит уже около суток. Идиотское было бы положение.

Бедный наш мальчик, сказали тетя Лида, тетя Галя и отчим, когда ОН прибежал, наконец, к своей маме. Мама была без сознания. Он сел на стул и стал ждать. Первым, кто пришел посидеть с ним вместе, был он сам – худой мальчишка, очень неловкий, в штанах, которые застегиваются на пуговку чуть ниже колена, в шелковых маминых чулках. И хотя ОН безусловно узнал себя, хотя стыд и боль заставили ЕГО опять опустить руки вдоль колен, закрывая шелковые чулки от всей школы, улицы, сослуживцев и друзей, ОН спросил почти без выражения.

ОН Что ты?

МАЛЬЧИК Хочу посидеть.

ОН Не сутулься.

МАЛЬЧИК Ага.

ОН Здесь же никого нет, да и темно, не видно, что ты одел мамины чулки.

МАЛЬЧИК Ага.

ОН А я тебе говорю, что наплюй и перестань озираться.

МАЛЬЧИК Слушай, ты не волнуйся, я ведь давно привык к их смеху. Чулки – это что. Ты вспомни, как они все веселились, когда физрук заставил нас бегать сто метров в трусах, помнишь, что поднялось, когда я снял брюки, а под ними мамин пояс с чулками. Нет, точно, я привык, это ведь ты вечно переживал, ревел, когда надо было смеяться вместе с ними и все.

ОН Так чего ж ты все время озираешься?

МАЛЬЧИК Я маму ищу.

ОН Мама вон там.

МАЛЬЧИК Ага.

ОН Погоди, давай вместе посмотрим, а то я один боюсь.

И ОНИ ПОШЛИ И ПОСМОТРЕЛИ.

МАЛЬЧИК Я, знаешь, часто представлял, как мама будет болеть и как будет умирать, а я буду ее целовать и плакать.

ОН Что?

МАЛЬЧИК А ты разве забыл об этом?

ОН Нет, но...

МАЛЬЧИК Ты что-нибудь чувствуешь?

ОН Да, я очень хочу спать. И еще – какая-то неловкость.

МАЛЬЧИК А плакать не хочется?

ОН К сожалению, нет.

МАЛЬЧИК Ага.

ОН Ты не мог бы перестать «агакать»?

МАЛЬЧИК Хорошо, не сердись, ведь я не виноват, что ты не можешь заплакать, как ни стараешься.

ОН Еще рано плакать.

МАЛЬЧИК Не ври.

ОН...

МАЛЬЧИК Ты же знаешь, что мама умирает. Ребята ею восхищались, когда она дала физику по морде за то, что он ржал больше всех, помнишь, как она это лихо сделала?

ОН Помню.

МАЛЬЧИК И как тебе было хорошо, когда ребята сказали: Вот это да!

ОН Помню.

МАЛЬЧИК Ну и...

ОН Нет, не приставай, не плачется. Хотелось бы, знаешь, чтобы к утру все кончилось. Тогда можно будет позвонить на работу, сказать спокойно, что я сегодня не могу прийти, а когда там заорут «почему», так же спокойно сказать, что у меня мама умерла и не надо, мол, кричать. И повесить трубку. Очень бы это получилось забавно.

МАЛЬЧИК Я в подобных случаях просто плакал.

ОН Мне ведь тридцать лет.

МАЛЬЧИК Мы с тобой давно всерьез не виделись.

ОН Да, если бы моя жена не сделала десять лет назад аборт, у меня вполне мог быть такой сын.

МАЛЬЧИК Аборт?

ОН Ах, извините, я совсем забыл, что ты еще маленький.

МАЛЬЧИК Да нет, я знаю это слово, я просто подумал, что было бы здорово мне сейчас познакомиться с собственным сыном.

ОН Да, я об этом как-то не подумал.

МАЛЬЧИК Скажи мне, а кто ты?

ОН То есть?

МАЛЬЧИК Кем ты стал, кем работаешь?

ОН Кем я стал, я, откровенно говоря, сам не очень чет ко представляю, скорее всего – никем. А работаю я в НИИ.

МАЛЬЧИК А я хотел стать продавцом хлеба.

ОН Да, у меня иногда и сейчас голова кругом идет, когда

я вовремя не поем.

МАЛЬЧИК «Блохи кусают моего сына, моего бедного глупого сына, кушать хочет мой глупый сын».

ОН Да нет, мама, нет, я не хочу. Ешь ты.

МАЛЬЧИК Если бы так...

ОН Что?

МАЛЬЧИК Я говорю, что сам был бы очень рад, если бы было так. Было совсем наоборот, была злоба и зависть к ребятам, у которых были нормальные родители, у которых отец на войне, а не сидит дома, потому что у него большое сердце, сидит без работы, а участковый каждый день спрашивает, ну, а как твой папа, что он делает, кто к вам приходит, а сам щиплет и крутит кожу, я боялся его, и он это знал, а поэтому ему нравилось беседовать со мной, люблю поболтать с мальчишкой, говорил он маме. Я стыдился родителей.

ОН Брось ты на себя наговаривать.

МАЛЬЧИК Да ты не трусь.

ОН Почему я?

МАЛЬЧИК Да потому, что я – это ты. Но ты не трусь, я ведь потому и пришел, чтобы посидеть с мамой, и, если удастся, шепнуть ей, что я ее очень люблю, пусть она простит меня. Я знаю, она очень обрадуется, она очень любила отца, а все-таки ушла от него, потому что ты устраивал ей истерики, ты помнишь, как подслушал у дверей: Ты прости меня, ой, прости, Глеб, я так тебя люблю, но мальчик просто больной из-за всех этих дел. Я ухожу.

ОН Не может этого быть.

МАЛЬЧИК Забыл, захотел забыть и забыл, а сейчас, наверное, придумал какую-нибудь красивую историю, чтоб эдак сдержанно ее рассказывать, как трудно жилось сыну врага народа, да и про смерть отца ты всем врешь. Да, да, я все про тебя знаю, ведь я в тебе остался жить, это ты на меня глаза пялишь, потому что захотел забыть, и забыл, или просто не захотел вспоминать, много раз вспоминать, вот и не узнаешь самого себя, потому что придуманный удобнее и лучше. Но ты сегодня не трусь особенно, сегодня я пришел не к тебе, сегодня я пришел к маме. Чего ты смеешься?

ОН Представил себе небольшое собрание: и – в разных возрастах, шумное бы было собрание, наверняка не обошлось бы без мордобоя, я ведь был здорово принципиальным временами, иногда удивительно принципиальным по принципиально разным вопросам, твой возраст наверняка бы выгнал меня из пионеров, возраст постарше – из комсомола и т. д. и т. п. Согласись, что это смешно.

МАЛЬЧИК Да, это смешно.

ОН Почему же ты не смеешься?

МАЛЬЧИК Нет, почему, я смеюсь.

Где-то там очень далеко застонала на кровати мама, и сразу же в комнату вошли тетя Лида, тетя Галя и отчим. Тетя Галя и отчим остались у двери, а тетя Лида прошла к маме, что-то бормоча. Она была старшая сестра и сердилась, что мама торопится умереть раньше, чем она. Тетя Галя была сестра отчима, и тете Лиде было на нее наплевать. Она подоткнула одеяло, вернулась и села рядом. А тетя Галя и отчим потоптались и вышли. Тетя Лида была медсестра и очень любила чистых и нешумных больных.

ТЕТЯ ЛИДА Бедный мой мальчик.

ОН Шла бы ты спать, Лидуша.

ТЕТЯ ЛИДА Ты должен держаться, бедный мой мальчик. Не думала я, что она меня обгонит, а я ведь совсем одна, тебе придется и по мне плакать, так что ты должен держаться, бедный мой мальчик.

ОН Я рад, Лидуша, что ты опять остришь.

Не волнуйся обо мне, я парень крепкий, да к тому ж, я думаю, что ты немного повредишь.

ТЕТЯ ЛИДА Какие мы очаровательные весельчаки.

ТЕТЯ ЛИДА Поставить чаю?

ОН Мне уже давно сам черт не страшен.

ТЕТЯ ЛИДА Ты просто обязан держаться, мой бедный мальчик.

ОН Мне уже давно никто не страшен.

ТЕТЯ ЛИДА Поставить чаю?

ОН А почему ты не любила маму, Лидуша?

ТЕТЯ ЛИДА Это неправда, мальчик, я просто очень завидую маме.

ОН Скажи, Лидуша, а к тебе никогда не приходила маленькая грустная девочка Лида из детства выяснять взаимоотношения?

ТЕТЯ ЛИДА Я в детстве, мальчик, была еще большей старой девой, чем сейчас.

ОН Так приходила к тебе девочка Лида или нет?

ТЕТЯ ЛИДА Тебе нужно обязательно договориться с отчимом насчет маминых бумаг.

ОН Я перед твоим приходом беседовал с мальчиком из детства.

ТЕТЯ ЛИДА Сколько лет мальчику?

ОН Десять.

ТЕТЯ ЛИДА Я с тобой познакомилась, мальчик, когда тебе было уже пятнадцать и ты спокойно мог покурить, как ты говорил, только в моем доме. «Только у тебя в доме, Лидуша, я могу спокойно вытянуть ноги». Ты, мальчик, чуть-чуть играл в жизнь, и мне это нравилось. Ты очень элегантно ругался матом и это мне тоже нравилось.

Ты должен поднатужиться, найти удобоваримую форму и попросить, чтобы он показал тебе все мамины бумаги.

ОН А почему ты не любила маму, а, Лидуша?

ТЕТЯ ЛИДА ЭТО неправда, мальчик, я просто завидую маме. И так как я понимаю, что тебе труднее всего задавать вопросы, я расскажу тебе почему. Ну-с, первое и самое прозаическое: к ней пришла любовь, а это, как ты догадываешься, большое дело для женщины, даже для марксистки, а твоя мама была марксисткой. Это – кстати – пункт второй моей зависти. Мама еще смолоду была занята активными делами, и я видела, что ей действительно нравилось заниматься этими делами. О, я как сейчас вижу ее горящие глаза и вздернутый нос, когда она обещала нашему папе, твоему деду, что проклянет его, если он что-то там ей не даст, а твой дед был учителем рисования в гимназии, и очень боялся, что его уволят, если узнают, что его дочь занимается революцией. Я бы тоже с удовольствием прокляла своего отца, но у меня не было к тому никаких оснований, вот, кажется, тогда я и начала завидовать маме. Да, да, мальчик, мы ведь с мамой жили еще при царе, вы уж про него и не вспоминаете, а твоя мама его активно свергала, ходила как на работу. Да, совершенно точно, больше всего я завидую, что она все делала с удовольствием, свергала царя, стирала, рожала тебя, даже, по-моему, уходила от твоего отца. У нее есть удивительная особенность, вернее талант, убеждать себя, а потом почти всегда и других, что то, что она делает, очень важно и необходимо, согласись, этому качеству имеет смысл завидовать, даже если оно тебе и не нравится. Нет, мальчик, я не могу не любить твою мать, ведь она моя сестра, в нашем детстве это имело значение, я ей просто завидую, а иногда удивляюсь.

Я, знаешь, очень хотела почему-то сняться в кино, и я твердо знаю, что если бы этого захотела твоя мама, она бы обязательно снялась, вот почему я ей завидую.

ОН Ты очень большая сволочь, Лидуша.

ТЕТЯ ЛИДА Ну вот, слава богу, ты начинаешь потихоньку ругаться, значит, приходишь в себя, а то уж я испугалась, когда ты прибежал. А отчего ты так бежал?

ОН Я очень поздно пришел с работы, испугался, что не успею, хотел поймать такси, да так и бежал от остановки к остановке.

ТЕТЯ ЛИДА У вас, видимо, сменили телефон на работе, я много раз звонила, и никто не подходил.

ОН Вечерами у нас его отключают.

ТЕТЯ ЛИДА Убеждена, что когда мама придет в себя, она сумеет убедить меня, что это очень нужно для каких-то тайных целей, чтобы она умерла раньше. Нужно, чтобы мама в этот момент сказала отчиму про бумаги, убедила бы его передать бумаги тебе.

ОН Я сейчас закричу.

Но и на этот раз вместо него ЭТО сделала мама, подождала, пока тетя Лида смотрела на него удивленно, а когда уже надо было что-то делать, мама закричала, но она была без сознания, и поэтому сделала это неуверенно, совсем неуверенно, одиноко и печально, точно зная, ожидая, что вот к ней подбегут и заткнут ей рот, а ей и так очень трудно дышать, и она умрет, если ей заткнут рот.

И снова в дверях сразу выросли тетя Галя и отчим.

ТЕТЯ ЛИДА Не нужно мучить себя, Василий Георгиевич. Ложитесь спать, хлопот в любом случае впереди много. Ложитесь, ложитесь, на вас лица нет, а вы сами – сердечник, если ей станет хуже, я вас разбужу.

ОТЧИМ Не беспокойтесь, Лидия Борисовна.

ОН Оставь его в покое, Лидуша, у человека не каждый день умирает жена.

ТЕТЯ ГАЛЯ Владик, я понимаю ваше состояние, но, ей-богу, Василий Георгиевич не заслужил.

ОТЧИМ Я всегда его раздражал, Галя, а теперь у него горе, понимаешь, не у нас, а у него.

ОН Вот именно.

ОТЧИМ Но он достаточно воспитанный человек, Галя, и поэтому позволит нам тоже немножко пострадать, совсем немножко пострадать, но только незаметно, лучше всего на кухне.

ОН Вот именно.

ОТЧИМ Он всегда был добрым и отзывчивым мальчиком, только не нужно его сердить.

ОН Вот именно.

ТЕТЯ ГАЛЯ Прекратите оба, как вам не стыдно.

ТЕТЯ ЛИДА А меня это забавляет. Забавляет и пробуждает зависть: с таким истинным удовольствием они этим занимаются.

ОН Вот именно.

ТЕТЯ ГАЛЯ Уйдем, Вася, посмотри, он весь белый.

ТЕТЯ ЛИДА Галина Георгиевна, не ссорьте их, просто мальчик поздно работал, осунулся, нервничает, согласитесь, что у него есть все основания нервничать, при чем же здесь ваш брат?

ТЕТЯ ГАЛЯ Да, но я не позволю, чтобы моего брата оскорбляли, после всего, что он сделал и для этой женщины, и для ее сына.

ОН Вот именно. Она не позволит.

ТЕТЯ ГАЛЯ Уйдем, Вася, бог его простит. Извините, Лидия Борисовна, я не сдержалась.

ТЕТЯ ЛИДА Ну что вы, милочка, я вам даже позавидовала, с таким удовольствием вы это сказали, видно, у вас давно накипело, а сейчас самое время и облегчиться.

ОН (крик) Перестаньте и уходите, я прошу вас, слышите – прошу!

Тетя Лида, тетя Галя и отчим ушли, тетя Лида еще раз перед уходом подоткнула одеяло. ОН сидит немного тихо-тихо, он знает, что мальчик где-то здесь рядом и ему это было приятно, и он оттягивает время, чтобы подольше было тихо, потом он вдруг ощутил тишину и темноту, вздрогнул, и позвал себя к себе.

ОН Где ты там?

МАЛЬЧИК Я здесь. У мамы.

ОН Иди сюда. Вот так. Расскажи мне.

МАЛЬЧИК ЧТО рассказать?

ОН Почему ты испугался?

МАЛЬЧИК Что рассказать?

ОН Что хочешь. Хотя постой, расскажи, как тебя принимали в пионеры.

МАЛЬЧИК Ну, эту хохму ты не мог забыть.

ОН Валяй, валяй.

МАЛЬЧИК Итак, товарищи, сейчас мы будем обсуждать кандидатуру ГОРЕЛОВА. Пусть расскажет о себе, а мы послушаем. Давай, Горелов, самую суть.

ОН Я родился в Москве, 8 октября 1934 года. Русский. Учусь хорошо. Очень хочу быть пионером, чтобы приносить как можно больше пользы. Пионеры всегда впереди, и я прошу довериться мне, потому... потому что...

МАЛЬЧИК Ну-ну, смелее, Горелов, пионер должен быть смелым и принципиальным, потому что...

ОН Потому, что мой отец не на войне, а сидит больной дома.

МАЛЬЧИК «И потому, что мой отец был арестован в 1938 году, но потом его выпустили перед войной».

Конечно же, товарищи, Горелов не может отвечать за своего отца, потому что был еще очень маленький, и его желание загладить вину отца мы должны приветствовать.

ОН Спасибо.

МАЛЬЧИК Подожди, Горелов. Мы тебе назначим испытательный срок. Ты вступишь в отряд «бдительность» и будешь следить, какие разговоры ведет твой отец.

ОН Но папа ни о чем не говорит.

МАЛЬЧИК Не ври, Горелов.

ОН Честное слово.

МАЛЬЧИК Не ври, Горелов.

ОН Честное слово.

МАЛЬЧИК Не ври, Горелов, и не плачь, – Москва слезам не верит.

ОН Неужели ты плакал?

МАЛЬЧИК Да.

ОН Дурак.

МАЛЬЧИК Да. Но я плакал от злости, я изо всех сил хотел вспомнить хоть что-нибудь, и не мог. А они спокойно продолжали свои дела, но меня попросили выйти, так как я не пионер. Мой сосед по парте сказал мне через несколько дней, что я колоссальный дурак, сделай как я, сказал он, придумай что-нибудь сам, а скажи, что ЭТО говорит, как выпьет, отец. Я ничего не мог придумать, и тогда он мне за завтрак рассказал то, что он сказал про своего отца.

И меня приняли в пионеры. Мама очень радовалась, вот видишь, говорила она отцу, мальчика приняли, мальчика приняли, несмотря ни на что.

ОН К борьбе за дело Ленина-Сталина будь готов!

МАЛЬЧИК Всегда готов!

ОН Назначаю тебя барабанщиком.
МАЛЬЧИК Всегда готов!
ОН Начальником штаба дружины.
МАЛЬЧИК Всегда готов!
ОН Директором хлебного магазина.
МАЛЬЧИК Всегда готов!
ОН Генералиссимусом Советского Союза.
МАЛЬЧИК Всегда готов!
ОН Очень интересное кино.
МАЛЬЧИК Да.

ОН А физрук работает у нас в НИИ, в охране, пропуска проверяет, я как-то забыл свой дома, он не хотел меня пускать, так ему директор приказал запомнить мою физиономию навеки и пускать меня в любых случаях, днем и ночью, нужно, говорит, товарищи, знать наших лучших людей, это их вы и охраняете. А я его спросил, по-прежнему ли он любит бегать стометровку. СКАЖИ, ты очень любил маму?

МАЛЬЧИК Да.
ОН А отца?
МАЛЬЧИК Да.
ОН А отца?
МАЛЬЧИК Да.
ОН А отца?
МАЛЬЧИК Прошу тебя, не надо.
ОН Вспоминать – так вспоминать.
МАЛЬЧИК Об этом не надо. Прошу тебя.
ОН Но ты ведь очень удивился, отчего это я не плачу.
МАЛЬЧИК Не надо!

ОН увидел отца. Отец ходил всегда очень сосредоточенно. Когда его левая нога, например, делала шаг, то правая в этот момент уже обдумала и точно знала, куда ей ступить с максимальной экономией. Нога видела все камушки, трещинки на его пути и заботливо их обходила. Отец установил со своими ногами приятельские отношения, но вместе строгие и трезвые. Он ничего не хотел слышать об их усталости, не принимал никаких скидок на плохую обувь, мороз или слякоть, работать – так работать, говорил он им, своей левой и правой ноге. Он говорил сердцу, что пора бросать дурить, вон как ноги берегут тебя, сердце, а ты все продолжаешь капризничать и дурить, нехорошо это, нехорошо и несерьезно. Ты слишком много просишь есть, желудок, слишком много, а это уж совсем несерьезно. Ты знаешь, желудок, ты знаешь, сердце, ведь я – мужчина, у меня есть женщина и сын от нее, мой сын, желудок и сердце, и я обязан их кормить и защищать, найти им одежду и пищу, да, да, это главное – пищу, а на деле что выходит, а? А на деле выходит вот что: я сам сижу у них на шее, у моей женщины и у моего сына, и мне стыдно за себя, за мужчину, и особенно стыдно за тебя, сердце, которое ни черта не хочет слышать и дурит, и дурит, а с тобой, желудок, я вообще перестану иметь дело, если все это в корне не изменится.

ОТЕЦ Здравствуй, сын.
ОН Здравствуй.
МАЛЬЧИК Здравствуй.
ОТЕЦ Вы совсем не бываете у меня.
МАЛЬЧИК Я не бываю.
ОТЕЦ Что?

МАЛЬЧИК Я говорю, что я у тебя не бываю, потому что мама навещает тебя почти каждый день.

ОТЕЦ Тебе это не нравится?

МАЛЬЧИК Мне все равно.

ОТЕЦ Значит, не нравится.

МАЛЬЧИК Мне все равно.

ОТЕЦ Ну, это вопрос формулировки. Бросим об этом. Ты не предложил мне раздеться, ты ждешь, чтобы я ушел?

ОН По-моему, я тогда что-то ел, а отец стоял и смотрел в тарелку, и я испугался, что он попросит доест, а мне было жалко отдать.

МАЛЬЧИК Разве?

ОТЕЦ Что «разве», сын?

МАЛЬЧИК Разве может сын хотеть, чтобы его отец ушел?

ОТЕЦ Так я посижу с тобой до маминого прихода, а ты не скажешь маме, что я приходил.

МАЛЬЧИК Я говорю маме все.

ОТЕЦ А этого не надо говорить маме, сын, мама расстроится, потому что она знает, что мне трудно без вас.

МАЛЬЧИК Хорошо.

ОТЕЦ Как у тебя дела в школе?

МАЛЬЧИК Хорошо.

ОТЕЦ Уж если ты предложил мне раздеться, может, расскажешь поподробнее?

МАЛЬЧИК Хорошо.

В этой новой школе все меня мало знают, пока еще я новенький, ребята поприставали ко мне и отстали. Учительница по литературе сказала, что у меня очень интеллигентная речь, спросила, кто мои родители, я сказал, что папа раньше занимался наукой, а сейчас очень болен и ничего делать не может. Он был ранен? – спросила она. Нет, сказал я, папа не был на войне, так как у него уже было три инфаркта.

ОТЕЦ Я причиняю тебе много хлопот, но может быть, со временем, ты перестанешь на меня сердиться.

МАЛЬЧИК Ты не причиняешь мне никаких хлопот.

ОТЕЦ Речь у тебя, действительно, интеллигентная.

МАЛЬЧИК Это плохо?

ОТЕЦ Нет, это – странно.

МАЛЬЧИК Ты попросил меня рассказать поподробнее, вот я и рассказываю.

ОТЕЦ Да, да. Я, знаешь, сижу все время один, – зверею, брат, – ты не обращай внимания. Продолжай.

МАЛЬЧИК Учитель математики спросил меня не родственник ли я ученому Горелову?..

ОТЕЦ Я тебя внимательно слушаю.

МАЛЬЧИК Я сказал, что нет.

ОТЕЦ Возможно, это и верно, но я бы никогда этого не сделал.

МАЛЬЧИК Я сказал, что нет.

ОТЕЦ Твой дед по моей линии был генералом царской армии, но я всегда писал, что он – мой отец, потому что это соответствовало истине. Может быть, еще и потому, что я его любил.

МАЛЬЧИК Я сказал, что нет.

ОТЕЦ Хорошо, хорошо, только не начинай кричать. У тебя тонкий, противный голос, когда ты кричишь.

МАЛЬЧИК Никто не просит тебя слушать.

ОТЕЦ Ну, хорошо, хорошо, я прошу прощения.

МАЛЬЧИК Я – чемпион школы по шахматам.

ОТЕЦ Это здорово.

МАЛЬЧИК Я – член редколлегии дружинной газеты.

ОТЕЦ Что это означает?

МАЛЬЧИК Газета, которую выпускает пионерская дружина всей школы.

ОТЕЦ Поздравляю.

МАЛЬЧИК Если все будет хорошо, я буду стоять в почетном карауле у мавзолея.

ОТЕЦ Ты очень хочешь этого достичь?

МАЛЬЧИК Очень!

ОТЕЦ Это большая честь, сын, ты должен постараться.

МАЛЬЧИК Я стараюсь изо всех сил.

ОТЕЦ Это хорошо, сын.

МАЛЬЧИК Я люблю тебя, папа, когда ты такой, если бы ты всегда был такой, как сейчас.

ОТЕЦ А я не люблю тебя, когда ты такой, как сейчас, очень не люблю, сын.

МАЛЬЧИК Я это знаю.

ОТЕЦ Слушай, я действительно паршиво себя чувствую, понимаешь, я могу каждый день умереть... Чему ты улыбаешься?

МАЛЬЧИК Я тебя внимательно слушаю.

ОТЕЦ М-да.

ТАК ВОТ. Я все откладывал этот разговор, никак не знал, как к нему подступиться, да, откровенно говоря, не знаю и сейчас, но я, вероятно, уеду отсюда, поэтому...

Ну, словом, так. Хочу тебе сразу сказать, что я ничему этому не поверил, не верю и сейчас, а просто хочу тебе рассказать, потому что я уеду, а маме мне бы не хотелось говорить всего этого.

Видишь ли, мне сказали, что мой собственный сын доносил на меня. Эти люди глупы и трусливы, сын, и поэтому им необходимо, чтобы все люди боялись и ненавидели друг друга, даже такие близкие люди, как отец и сын. Я рассмеялся, когда они мне сказали такое, но они посоветовали спросить у тебя, спросите у своего сына сами, сказали они, – он вам все сам и расскажет, он паренек честный, врать вам не станет, поговорите с ним.

Видишь ли, я полгода ни слова тебе не говорил, понимаешь, именно потому, что я смеюсь над этим бредом, но вот я скоро уеду, понимаешь, мои знания, как мне сказали, могут понадобиться для нового оружия, я говорю об этом тебе, потому что знаю, как ты переживал, что я не был на фронте, сын, я неоднократно просился, хотел пойти на фронт, но, понимаешь, те же самые люди, которые сказали мне эту чушь про тебя, не доверили мне, не пустили меня. Я с радостью поеду, если все не сорвется, ты подрастешь, пройдет время, и, быть может, мы подружимся, но я действительно паршиво себя чувствую последнее время, поэтому я решил сказать тебе сейчас, чтобы ты знал, что я не поверил, чтобы ты умел отбирать, умел бы отличать слова и не все сразу принимать на веру, а думать, сын, думать, а потом уже решать на всю жизнь и верить на всю жизнь. Меня тревожит, сын, что ты очень интеллигентно разговариваешь, что ты – чемпион школы по шахматам, а не играешь в футбол консервной банкой, что ты – член редколлегии дружинной газеты, а не разбил хоть одно заваливающее стекло; маму это тоже тревожит, сын.

МАЛЬЧИК Хорошо, я начну ругаться матом, могу даже сейчас, чтобы ты проверил, правильно ли, а потом разобью стекла у соседей, тем более, что хозяева работают в исполнении.

ОТЕЦ Ты очень старый и очень жестокий человек.

МАЛЬЧИК Возможно.

И так как ты скоро уезжаешь, или просто плохо чувствуешь себя, и прийти тебе еще раз будет трудно, то я тебе сейчас расскажу правду, как и предполагали те люди.

ОТЕЦ Я не хочу ничего слышать.

МАЛЬЧИК Но я хочу рассказать.

ОТЕЦ Не надо, мой маленький мальчик, не надо, прости меня и не говори ничего, ты просто не в себе, я обидел тебя, прости меня, я сейчас уйду и мы больше никогда не увидимся, и ты забудешь эту обиду. Вот смотри: я делаю первый шаг, потом второй, я иду в прихожую, еще шаг, а потом уйду, а ты молчи, не открывай рот, молчи, я все равно заткнул уши и ничего не слышу, молчи, – мой маленький, только молчи!

МАЛЬЧИК Я доносил на тебя.

ОТЕЦ Я ничего не слышу.

МАЛЬЧИК Я доносил на тебя.

ОТЕЦ Я ничего не слышу.

МАЛЬЧИК По утрам, когда ты спал, я относил им твои тетради, где ты что-то решал, и они хвалили меня. Я приносил пользу Родине, а ты хотел все это отдать шпионам, ты...

ОТЕЦ Мой маленький глупый сын, я ничего этого не слышу.

МАЛЬЧИК Нет, слышишь, нет слышишь, нет слышишь!

ОТЕЦ Перестань кричать, у тебя резкий уродливый голос!

МАЛЬЧИК Я ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу!

ОТЕЦ Сейчас же прекрати истерику, или я тебя ударю.

МАЛЬЧИК Ударь, ударь, ударь!

И ОТЕЦ УДАРИЛ СВОЕГО СЫНА НАОТМАШЬ ПО ГЛАЗАМ.

Мальчик заплакал, а ОН – ЕГО ВЫРОСШИЙ СЫН – сидит, закрыв глаза, и что-то шепчет, а отец неловко шагнул к дверям и сразу остановился.

ОТЕЦ Я ничего не хочу слышать, левая нога! Ты должна шагнуть, ты должна шагнуть, а потом шагнет правая и мы дойдем до прихожей, где висит пальто, а в пальто мое лекарство, слышишь, левая нога, сердце обещало мне – дотерпеть до прихожей, ну же, давай, шагай, не может же правая шагать два раза. Ну, что ж, с тобой мы поговорим дома, левая нога!

СЫН, дай мне лекарство, оно в правом кармане пальто, стеклянный пузырек, там нитроглицерин, скорей, сын, скорей.

МАЛЬЧИК Возьмешь сам.

ОН Сейчас же принеси лекарство, гад, ведь отец сейчас умрет!

ОТЕЦ Поздно!

И папа упал и умер. Оказывается, это совсем просто.

МАЛЬЧИК ПАПОЧКА, ну же, папа, встань, папа... Папа, закрой глаза, не смотри на меня так, я ведь не хотел, я не нарочно. Я не хотел!

ПОСЛЕ этого ОН долго сидел не шевелясь.

ОН уже не видел, как МАЛЬЧИК быстро и воровато оделся, деловито оглядел комнату и убежал вон из комнаты, а его папа остался лежать на полу.

ОН тихо подошел к своему отцу, тихо, чтобы не потревожить больную маму, поднял отца на руки, и тихо, чтобы не привлечь внимания тети Гали, тети Лиды и отчима, пошел к выходу из комнаты. Папа был маленький и легкий.

* * *

Пятнадцать минут спустя ОН сидел на кухне и пил с отчимом чай. ОН взглядывал на отчима с интересом, сравнивая его с отцом, и находил, что он, отчим, элегантнее. В этом сладком издевательском сравнении было успокоение, и ОН вкусно глотнул крепкий сладкий чай.

ОН заметил белую нитку у отчима на пиджаке, встал и снял ее, сел и стал наматывать нитку на палец. Получилась буква «Е».

ОН «Е».

ОТЧИМ Что?

ОН Получилась буква «Е» – Елена. Скажите, Василий Георгиевич, когда вы собираетесь жениться?

ОТЧИМ Мне не до шуток, Владик.

ОН А я и не шучу, мне действительно, без сантиментов, нужно знать, как скоро после маминой смерти вы обзаведетесь новым домом, потому что мне надо забрать кое-что из маминых вещей, а сейчас я жутко занят, а встречаться с новой дамой мне не хочется, вот я и интересуюсь сроками, улавливаете?

ОТЧИМ Улавливаю.

ОН Ну, и?

ОТЧИМ Почему ты такой трус, Владик?

ОН Трус?

ОТЧИМ Да.

ОН Мама мне много раз говорила, что вы – выдающийся психолог, я с удовольствием послушаю ваши выкладки, с детства обладаю огромной жадой познания, валяйте, я – весь внимание.

ОТЧИМ Я спросил, почему ты такой трус, потому что мне не хочется допускать мысль, что ты сволочь.

ОН Я – весь внимание.

ОТЧИМ Ты боишься быть самим собой, юродствуешь, шумишь на людей и вызываешь у них жалость, жалость тебя оскорбляет, хотя ты сам ее вызвал, тебя бесит, что ты разгадан, рождается злость, а так как ты сентиментален, то очень скоро приходит жестокость. Но к этому времени ты уже утомил своего собеседника, собеседник идет домой спать, а нерастратенная жестокость остается для близких, родственников или друзей, это значения не имеет, важно, пожалуй, только, чтобы они тебя любили, а потому терпели.

ОН Грандиозно. Гладко и убедительно, просто; да, да, основное достоинство, безусловно, простота.

ОТЧИМ Человек же, который может быть самим собой, в горе – горюет, а не пристает к другим с демонстрацией своего мужества, поглядите, мол, на меня, какой я крепкий или еще какой, совсем ничего не чувствую, прямо скала, гордая и трусливая скала. Поэтому, я думаю, что ты – трус.

ОН У вас очень интеллигентная речь.

ОТЧИМ Я отношусь к твоим родственникам, но я не люблю тебя, поэтому имей в виду, что я в любой момент могу уйти.

ОН Тетя Лида все время говорила мне про какие-то мамины бумаги, вы не знаете, что она имела в виду?

ОТЧИМ Знаю.

ОН Что же это?

ОТЧИМ ЭТО – тетради твоего отца.

ОН Тетя Лида хотела бы, чтобы вы отдали их мне.

ОТЧИМ Да, но мама этого не хотела.

ОН Что?

ОТЧИМ Мама не хотела отдавать тебе тетради отца.

ОН Почему?

ОТЧИМ Вот именно, почему?

ОН Бросьте ваши психологические эксперименты, не до этого. Почему мама не хотела, чтобы тетради были у меня?

ОТЧИМ Потому что иначе она бы их тебе отдала.

ОН Она вам говорила, что не хочет отдать мне тетради?

ОТЧИМ Я твой родственник, но я не люблю тебя.

ОН Говорила или не говорила?

ОТЧИМ Говорила.

ОН Ты врешь!

ОТЧИМ Ого, мы опять перешли на «ты».

ОН Вы врете.

ОТЧИМ Ты прекрасно знаешь, что я не вру. Мама сказала: «У мальчика незаурядные способности к физике. Мальчик еще в университете начал работать над диссертацией, очень рано стал кандидатом наук».

ОН Можете не продолжать.

ОТЧИМ «У мальчика безусловно незаурядные способности к физике, он ведь смог понять записи его отца, понять и развить его мысли, а это очень сложно, потому что Горелова не могли понять очень умные люди, которые обвиняли его в буржуазных загибах, идеалистических загибах, а мой мальчик понял».

ОН ХВАТИТ, замолчите!

ОТЧИМ Когда ты начинаешь кричать, голос у тебя резкий и противный. Я продолжаю.

«Я очень хорошо помню, что у Горелова было пять толстых тетрадей, они у него даже пронумерованы, но я никак не могу найти одной, номер второй, осталось четыре тетрадки. Правда, я никогда не говорила мальчику, что ищу пропавшую тетрадь, у нас не было разговоров на эту тему, я просто обрадовалась, когда мальчик сказал, что хочет идти по стопам отца, очень обрадовалась, потому что они не ладили. Нет, нет, я не хочу думать, даже мысли не хочу допустить, что тетрадь каким-то способом попала к мальчику. Но я не хочу, понимаешь, именно поэтому не хочу, чтобы тетради были у мальчика, пусть он дойдет до всего сам, у него незаурядные способности к физике».

Ты знаешь, у твоей мамы есть удивительная способность убеждать людей в своей правоте, через какой-то срок она смогла убедить и себя, что ты не украл тетрадь отца.

ОН Когда состоялся этот разговор?

ОТЧИМ Ого, ты даже не отрицаешь всего этого.

ОН Когда произошел разговор?

ОТЧИМ Первый раз мама заговорила на эту тему лет пять или шесть назад, когда после твоего головокружительного взлета настала утомительная пауза, потом она говорила об этом часто, очень часто, чересчур часто для человека, который поверил, что ее сын не вор.

ОН А ее сын и не был вором.

ОТЧИМ Ах, вот как!

ОН Ее сына вообще не существовало, был другой мальчик, а она или не видела, что он другой, или не хотела видеть.

ОТЧИМ Ты умнее, чем я думал.

ОН Спасибо.

ОТЧИМ Не стоит, это ведь соответствует истине.

ОН Вы знали моего отца?

ОТЧИМ Нет.

ОН Вы элегантнее его.

ОТЧИМ Ты не так плох, как это может показаться.

ОН Я совсем не так плох.

Скажите, к вам никогда не приходил маленький мальчик Вася из детства выяснять кое-какие даты и дела?

ОТЧИМ Из-за тебя она не хотела, чтобы у нас были дети, так что, если она не поднимется, мне коротать век с сестрой Галей, а это утомительно. Я не люблю тебя.

ОН Спасибо.

ОТЧИМ Не стоит, это ведь соответствует истине.

ОН Что вы сделаете с тетрадями?

ОТЧИМ Отдам тебе.

ОН Тетя Лида будет довольна.

ОТЧИМ Я думаю, что до этого не дойдет.

ОН Я тоже думаю, поэтому и спросил. Ну, я пойду, посижу у нее.

ОТЧИМ Иди.

И ОН вошел. Тетя Галя поднялась ему навстречу и, проходя мимо, сказала, чтобы он не сердился на нее, и ОН кивнул головой, что, мол, да, я уже давно не сержусь, да и вообще не думал сердиться.

ОН сел и стал смотреть перед собой, ОН ясно услышал, как кто-то начал плакать, там зади, где лежала мама, но ОН не повернул головы, так как знал, что сейчас плачет не мама, а потом ОН услышал шепот.

ШЕПОТ Тихо ты, ну, слышишь, тихо, перестань, а то услышат.

ПЛАЧ Пусть слышат.

ШЕПОТ Ты сошла с ума.

ПЛАЧ Ты мне обещал, что ничего не будет...

ОН Сейчас самое время об этом поговорить, самое время. Идите сюда: у меня сегодня вечер воспоминаний.

И они вышли, заплаканная девушка, что-то на себе застегивающая, и испуганный двадцатилетний парень.

ПАРЕНЬ Я тебя прошу потише, то же самое, но потише.

ДЕВУШКА Что ты пристал, что я нарочно, что ли.

ПАРЕНЬ Ну вот и успокойся, давай все спокойно обмозгуем.

ДЕВУШКА Я не могу спокойно, потому что проходят все сроки.

ПАРЕНЬ Какие сроки?

ДЕВУШКА Мне сказала подружка, что если я сейчас же не сделаю аборт, то мне надо будет рожать.

ПАРЕНЬ Как, сейчас?

ДЕВУШКА Да не прикидывайся ты, опять начинаешь свои номера, конечно же, не сию минуту, но на днях, а ты все тянешь, говорил, что поговоришь с мамой, а тянешь уже целый месяц.

ПАРЕНЬ Думаешь, так просто сказать.

ДЕВУШКА Нуда, тебе, конечно, намного труднее, чем мне.

ПАРЕНЬ Ой, только ради бога, не начинай опять, я же не снимаю с себя ответственности... Ну, что ты опять плачешь?

ДЕВУШКА Ты говорил, что ничего не будет, ты обещал мне, что ничего не будет, ты дал мне честное комсомольское...

ПАРЕНЬ За молчи, или я умру от смеха!

ДЕВУШКА Что ты сказал?

ПАРЕНЬ Я ничего не говорил.

ДЕВУШКА Ты сказал, что тебе смешно.

ПАРЕНЬ Я ничего не говорил, хотя мне действительно смешно, причем здесь честное комсомольское?

ДЕВУШКА Теперь тебе все ни при чем.

ПАРЕНЬ В конце концов могла не соглашаться.

ДЕВУШКА Ага, наконец-то ты об этом заговорил, меня Галка предупреждала, что ты обязательно скажешь.

ПАРЕНЬ Ты что, все рассказала Галке?

ОН Перестань шептать и трястись, на тебя противно смотреть. Нечего, нечего на меня так смотреть, уж в этом-то я не виноват, меня еще тогда не было.

ПАРЕНЬ Зачем ты все рассказала Галке?

ДЕВУШКА Не кричи на меня.

ОН У тебя резкий и противный голос.

ДЕВУШКА У тебя резкий и противный голос, когда ты кричишь.

ПАРЕНЬ Твоя Галка – первое трепло на весь университет, она растреплет всему городу.

ДЕВУШКА Она мне советовала пойти в комитет комсомола, справите, говорит, комсомольскую свадьбу, вам комнату дадут, и Владькина мамаша, которую он очень боится, ничего не сможет сделать, против общественности не попершь, говорит.

ПАРЕНЬ Я совсем не боюсь.

ДЕВУШКА Боишься, боишься, даже я заметила, как будто ждешь, что она о чем-то спросит.

ПАРЕНЬ Я никого не боюсь!

ДЕВУШКА Тебя не поймешь, то сам говорил «тише», то орешь, как будто тебя режут, не боишься, так не боишься, какое это сейчас имеет значение.

ПАРЕНЬ Все сейчас имеет значение.

ДЕВУШКА Ну, ладно, ладно, вот вечно с тобой так: разорешься, хоть и не прав, и все тебя утешают, но со мной этот номер не пройдет, ты должен был думать, а ты все виляешь.

ПАРЕНЬ Я не виляю, я много думал.

ДЕВУШКА Ну, и что ты придумал?

ПАРЕНЬ Мы не можем пожениться.

ДЕВУШКА Почему это не можем?

ПАРЕНЬ Потому что я не люблю тебя, я это сейчас понял.

ДЕВУШКА Как это не любишь?

ПАРЕНЬ Да, да, мы не должны делать этот шаг, ты представь себе, что мы с тобой будем всю жизнь вместе, можешь ты себе такое представить?

ДЕВУШКА Нет.

ПАРЕНЬ Вот видишь, значит, я прав. Нужно сделать аборт, ты не волнуйся, это совсем не больно, а я все устрою, у меня есть один человек, он мне поможет, а потом мы проверим себя и, может, поженимся потом, а? Всем назло.

ДЕВУШКА Кому назло?

ПАРЕНЬ Всем.

ДЕВУШКА Не понимаю я тебя.

ПАРЕНЬ Вот я и говорю, что нам надо проверить себя, а то, вот видишь, ты меня не понимаешь, а иногда я тебя.

ДЕВУШКА Ну, ладно уж, пусть будет по-твоему, но парень ты жутко смешной и странный. До завтра. Ну, пусти меня, я побежала.

ОН А ты останься.

ПАРЕНЬ Хорошо.

И девушка убежала.

ОН Ну и сволочь же ты!

ПАРЕНЬ Ага.

ОН Я тебе уже говорил, чтобы ты перестал «агакать».

ПАРЕНЬ Ничего ты мне не говорил.

ОН Да, я ошибся, но ты, тем не менее, постарайся не «агакать», что за детские привычки. Ты что, действительно не знал, как дети рождаются?

ПАРЕНЬ Очень приблизительно.

ОН Ну, спросил бы у кого-нибудь.

ПАРЕНЬ У кого? К своим ребятам не подступишься, засмеют, хотя наверняка и сами-то ничего не знают, а к старикам, которые не из школы пришли, не знаешь, вообще-то как подступиться, не то, что уж с этим.

ОН Так надо было ей сказать, она бы разузнала, у них целомудрие – большая заслуга.

ПАРЕНЬ Да-к, неудобно перед ней.

ОН Ты на каком курсе?

ПАРЕНЬ На третьем.

ОН Сталин уже умер?

ПАРЕНЬ Да, в прошлом году.

ОН Устаешь?

ПАРЕНЬ Нет, не очень.

ОН Слушай, мне тут отчим рассказывал байки про отцовскую тетрадь, ты что, действительно все содрал оттуда?

ПАРЕНЬ А ты что, с неба свалился, ничего не помнишь?

ОН Работы очень много, все в голове перепуталось, одни точки да кривые перед глазами. Я помню, что много содрано было, это точно, но не все же, сам-то я тоже чего-то стою?

ПАРЕНЬ Скажи, а аборт это правда, не больно?

ОН Хочется, понимаешь, думать, что ты сам тоже чего-то стоишь, а то совершенно невозможно разговаривать с такими типами, как отчим.

ПАРЕНЬ Да нет, он, вроде, мужик ничего.

ОН Так как же насчет тетради?

ПАРЕНЬ Тетрадь дала Лидуша, когда я прибежал к ней советоваться, что делать с этой девчонкой; мой мальчик, ты стал уже взрослый, раз пришел к старой тетке за советом по такому пикантному поводу, ты стал уже взрослым, я подарю тебе одну вещь, она осталась у меня с тех пор, как папа жил у меня одно время, когда у них были нелады с мамой. Это папина тетрадь, мой мальчик, и я отдам ее тебе, ты должен продолжить дело твоего папы.

ОН Ты часто вспоминал отца?

ПАРЕНЬ Да, он был очень талантливым ученым, мне все в университете завидуют, что у меня такой отец.

ОН Ты знаешь, как он умер?

ПАРЕНЬ Он пришел к нам, когда нас не было дома, а когда мы с мамой пришли, он лежал на полу мертвый.

ОН А как же папа попал в комнату, ведь у него не было ключей?

ПАРЕНЬ Я не знаю, не помню, помню только, что мама тоже об этом спросила.

ОН Что ты ответил?

ПАРЕНЬ Кажется, мне стало плохо тогда, я долго болел потом.

ОН Не тех пор ты боишься, что мама повторит этот вопрос?

ПАРЕНЬ Какой вопрос?

ОН КАК же папа вошел в комнату, ведь у него не было ключей?

ПАРЕНЬ Я никого не боюсь!

ОН Не ори, мама больна.

ПАРЕНЬ Больна?

ОН Чему ты обрадовался?

ПАРЕНЬ Я не обрадовался.

ОН Врешь, обрадовался, подумал, хорошо бы она умерла, и тогда никто, никто, никогда, никогда, уже не задаст вопрос, а как папа попал в комнату, ведь у него не было ключей?

ПАРЕНЬ Чего ты хочешь от меня?

ОН Ничего.

ПАРЕНЬ Ну и оставь меня в покое.

ОН А физрука ты не встречал?

ПАРЕНЬ Какого физрука?

ОН Который заставлял нас в школе бегать стометровку в трусах.

ПАРЕНЬ Не знаю, о чем ты говоришь.

ОН А я знаю.

ПАРЕНЬ Слушай, а она не может умереть от аборта, я все время об этом думаю.

ОН Почему?

ПАРЕНЬ Так ведь тогда все узнают, что я виноват, Галка растреплет.

ОН А ты – откровенная сволочь.

ПАРЕНЬ А какой смысл тебе врать, все равно уже не поможет. ОН А что сказала Лидуша?

ПАРЕНЬ Насчет чего?

ОН О девчонке?

ПАРЕНЬ Сказала, что все устроит, чтоб я не волновался.

ОН Ну и не волнуйся.

ПАРЕНЬ Кстати, в той тетрадке было больше стихов, чем формул, так что в принципе можешь считать, что ты сам что-то значишь, хотя, конечно, сам бы до всего этого не допер.

ОН Ничего, сейчас я сам будь здоров заворачиваю.

ПАРЕНЬ Я себе так тогда и сказал: был бы отец жив, это было бы известно всем, ну, вроде как учебник, и я бы все равно узнал, а так, всего лишь, узнал я один, ну так ведь он – мой отец, а я – его сын.

ОН Замолчи. Неужели ты не понимаешь, ЧТО говоришь? Молчи, не открывай рта, только не открывай рта.

ПАРЕНЬ А может, мне правда жениться на ней?

ОН Да. Ты на ней женишься.

ПАРЕНЬ Ну, я пойду, у меня голова кругом идет. Будь здоров!

ОН остался сидеть один. ОН все-таки надеялся, что в 20 лет был, трудно подобрать слово, – приличнее, что ли.

Встреча с этим растерянным парнем расстроила ЕГО. Все-таки, очень паршиво, что он был таким мозгляком в 20 лет. ЕМУ бы хотелось другого, ну, в 10 – это понятно, можно сослаться на возраст, но в 20... Хотя и в 20 можно сослаться, всегда можно сослаться на что-нибудь, а почему бы и нет, а?

Глава шестнадцатая

Фома сказал, что здесь есть немного и о ней

Ирина смотрела на Фому, и было ясно, что она не понимает, зачем ей попался такой человек, который вот читает ей пьесы, пугает ее, потом она твердо поняла из услышанного, что если забеременеет, попадет в беду, то он может просто отказаться помочь. Но все же, когда Фома уткнулся в нее опять, она опять ласково ему помогала, находя силы понять и пожалеть, и это ее умение в себе, которое открывалось ей, нравилось, тревожило, облегчало.

А Фома, когда они встали и сели пить чай, сказал ей:

Ты знаешь, тут есть немного и о тебе.

Продолжил читать вслух.

Сейчас восемь часов утра.

ОН, его тетка Лида, его отчим и сестра отчима порядком устали. Усталость – это так хорошо.

Они пьют чай.

Усталость – это так хорошо, особенно хорошо, когда можно устать, вернее сказать, точнее, когда можно ПОЗВОЛИТЬ себе устать, а когда впереди предстоит перенести горе, то уж совсем хорошо, хорошо потому, что ты это горе перенесешь спокойно и храбро, и опять еще немножко устанешь, то есть позволишь себе устать, а потом позволишь себе посмеяться над своей усталостью, а потом уж и над другими, которые не хотят уставать, а потом, вероятно, можно кого-нибудь убить.

Они пьют горячий крепкий чай, который умеет заваривать тетя Галя. Ирка тоже пьет чай, но ей совсем не хочется.

ОН Так это в самом деле ты?

ИРКА Да.

ОН Откуда ты взялась?

ИРКА Мне захотелось ночью к тебе, я пошла, соседи сказали мне, что случилось, я пошла и пришла.

ОН Ты не бежала?

ИРКА Нет.

ОН А я бежал.

ИРКА Да, я понимаю.

ОН Нет, я просто хотел сказать, что не было такси и я бежал.

ИРКА Да, я понимаю.

ОН Лидуша, представь себе, ей только двадцать лет.

ТЕТЯ ЛИДА Да, я согласна с тобой. Мы разговаривали и познакомились, пока ты сидел у мамы.

ОН Галина Георгиевна, спасибо. И если можно, один вопрос?

ТЕТЯ ГАЛЯ Пожалуйста.

ОН А к вам не приходила маленькая девочка Галя, чтобы сверить кое-какие даты?
ТЕТЯ ГАЛЯ Мне брат говорил, что вам тяжело.

ОН Ах, он говорил?

ТЕТЯ ГАЛЯ Да.

ОН И, если можно, еще вопрос, он, возможно, покажется вам странным, но я все-таки его задам.

ИРКА Я бы этого не делала.

ОН Скажите, Галина Георгиевна, вам не приходилось делать аборт, и если да, то больно ли это?

ИРКА Не надо отвечать, Галина Георгиевна.

ТЕТЯ ГАЛЯ Мне не приходилось делать этого, Владик.

ОН Лидуша говорит, что это пустяки, а жена десять лет твердит, что я ее искалечил. Не знаешь, чему верить, голова кругом идет.

ОТЧИМ Полезнее верить, что искалечил.

ОН Разве вам не понравилась Ирка, Василий Георгиевич?

ОТЧИМ Полезнее брать все на себя, а потом делать, что хочешь, все равно делать, что хочешь, но предварительно взять все на себя.

Разводись, но считай, что ты поломал ей жизнь, тебе это больше подходит, будет повод для самоедства.

ОН Благодарю вас, профессор психологии. Лидуша, как ты?

ТЕТЯ ЛИДА Ирка мне нравится больше, но думаю, что твоя мать могла бы убедить меня в обратном.

ОН Как тебе нравятся твои будущие близкие и как часто мы будем их навещать, а?

ИРКА Я люблю тебя. Ты мне все меньше и меньше нравишься, но я все больше и больше тебя люблю.

ОН Профессор психологии?

ОТЧИМ Смолоду нам кажется, что мы сможем выстоять всегда. Могу подтвердить, что девочке двадцать лет. Возможно, что она никогда не устанет тащить тебя на плечах, возможно даже, что ей с каждым годом будет все больше и больше нравиться тащить груз на своих плечах, но тогда ты все больше и больше будешь ненавидеть ее за силу, которой нет у тебя.

Но это будет не скоро, так что стоит рискнуть.

ОН Мы второй раз за эту ночь переходим на «ты», но я хочу сказать тебе, профессор психологии, что у тебя порозовели щеки от удовольствия, когда ты строил логические построения, более того, ты напрочь забыл, что в соседней комнате умирает твоя жена.

ИРКА Боже ты мой!

ТЕТЯ ЛИДА Бедный мой мальчик.

ОТЧИМ А ты намного сильнее, чем я предполагал.

ОН Да, я очень сильный и я ничего не боюсь.

ИРКА Боже ты мой.

ОН Несколько часов назад вы еще сказали, что я намного умнее, чем вы думали.

ОТЧИМ Это соответствует истине.

ОН В тетради отца было больше стихов, чем формул.

Я встретил девушку, которая мне нужна и которая все больше и больше любит меня.

Я выяснил, что виноват в смерти отца и признал эту свою вину, хотя я унаследовал от матери способность убеждать других и, главное, себя, так что я могу убедить себя, что виною всему обстоятельства, но я этого не делаю. По-видимому, скоро умрет моя мама. Моя мама, которая все знала, и все несла на себе, а я всю жизнь боялся, что она упадет и обвинит

во всем меня, подчеркиваю, что я больше боялся, что она обвинит меня, а не того, что она упадет.

У меня интересная работа и очень отзывчивые сослуживцы, в чем у вас будет повод убедиться.

У меня нет детей.

Как ты думаешь, Василий Георгиевич, сколько я проживу?

ТЕТЯ ЛИДА Мой мальчик, только, пожалуйста, спланируй все так, чтобы я могла надеяться на тебя, в свете нашего разговора. Ну, ну, это о том, что ты должен будешь позаботиться обо мне.

ОТЧИМ Я очень устал, Владик. Очень.

Видно, я был несправедлив к тебе, но я всегда был искренен... Я пойду полежу.

ТЕТЯ ЛИДА Если бы вы сделали это тогда, когда я сказала, было бы совсем хорошо. Вовремя соснуть – это большое дело.

ОТЧИМ Если что-нибудь...

ТЕТЯ ЛИДА Я сразу же вас разбужу.

Тетя Лида, тетя Галя и отчим ушли.

Как по-хозяйски устроена жизнь.

Мертвые, которые могли бы кое-что рассказать, никогда не приходят к живым, дети, становясь взрослыми, хотят поговорить со старшими, родными, и находят старых людей без мыслей, или совсем никого не находят. А ведь забавно бы было, если бы рядом с теми, кто сейчас сидит в креслах, на стульях, на скамьях, приходили бы изредка, а может, и часто, те, кто сидел на этих местах раньше, приходили бы покурить, если они курили, и посмотреть в глаза тем, кто сидит на их месте. А если им не понравятся эти глаза, то позвать других живых и обсудить с ними, как быть, и рассказать, что и как устроено в мире. Приходили бы убитые, сожженные, свершившие сознательный подвиг и умершие от пыток, невинные и прославленные, приходили бы хоть раз в год все вместе, по всей земле, а живые бы знали, что они придут и ждали бы этого дня. Слишком по-хозяйски устроена жизнь. Живые забывают, что было вчера, поэтому мало думают о том, что будет завтра, очень спокойно готовят себя к повторению всей кутерьмы по кругу.

Очень по-хозяйски устроена жизнь.

ОН сидит, закрыв глаза, а Ирина стоит за спиной его стула, положив ладони ему на лоб, и, по всей вероятности, она никогда не будет больше так счастлива, как сейчас, хотя, если ей сказать об этом, она, пожалуй, будет недоумевать.

ОН Тебе хорошо?

ИРКА Да. Очень.

ОН Сколько времени мы знакомы?

ИРКА Сорок восемь часов.

ОН Это намного больше, чем двое суток?

ИРКА Намного.

ОН И я тебя сразу же познакомил со своими родными.

ИРКА Да.

ОН Знаешь, когда я был маленьким, я очень любил смотреть на себя в оконном стекле и придумывать всякие истории.

ИРКА Как это в оконном стекле?

ОН Ну, если открыть окно, то можно смотреться в стекло, как в зеркало. На зиму окна заклеивали, но одно всегда оставалось незаклеенным, хотя мой отец был человек аккуратный. Такие, брат, пироги.

ИРКА Он это делал для тебя?

ОН Да, наверное, точно не знаю. Я бы очень хотел с ним поболтать сейчас, но я сам...

ИРКА Молчи, только молчи, мой маленький, я ничего не хочу слушать, только не открывай рта, молчи, молчи, смотри на меня, видишь, вот я рядом с тобой, видишь, вот мои ноги прижаты к твоим, видишь, вот моя грудь ушла в твою, ты только не открывай рта и молчи, мой маленький, я спасу тебя.

В этот момент ЕГО МАТЬ крикнула в последний раз.

ОН очень осторожно освободился от Ирки, пошел к стулу, причем его правая нога уже точно знала, как экономнее ступить, знала уже в тот момент, когда шагала левая.

ОН Я пойду позвоню на работу, что не смогу быть.

Представляю их рожи, когда спокойно выслушав их ор «почему», я объясню им причину. А ты пойдти туда, малыш, побудь секунду с ними, я быстро вернусь.

И они пошли.

* * *

Говорят, что их видели в какой-то жаркой пустыне.

Говорят, что они косили сено вчера под Москвой, лежали, глядя в небо, и ее голова была у него на груди.

Говорят, но этому верить не стоит, что ОН повесился, а Ирка стала очень смешливой с тех пор.

Глава семнадцатая

В ее голосе было только то, что она хотела сказать, и она сказала: Сегодня сороковой день

Фому совсем замело снегом. Он сидел на маленькой скамеечке, которую они соорудили с отчимом у ограды, она была низкой и вровень с ней намело белого снега, зыбкого и непрочного, так что ноги ушли ступнями вниз, и снег набился в брюки до колен. Фома замерз висками, в голове было ощущение, будто кто-то взял лоб Фомы между средним и большим пальцами и сжал, и держит, пока Фома сможет терпеть, и словно они оба ждут: Фома, что вот-вот его отпустят, а пока потерплю еще, и тот, кто взял голову, что вот-вот Фома закричит, тогда и отпущу; и словно каждый знает про ожидание другого и все дело только в секунде, которая должна прийти и расставить все на свои места, чтобы одному закричать, а другому отпустить, но вот этой-то секунды все нет и нет, а бросить ее ждать никак невозможно. Голова была беспокойной еще и потому, что устала от постоянного вслушивания, которое было в Фоме последнюю неделю, последнюю неделю перед сороковым днем, когда голос матери резко ослаб, стал тише и отдаленнее, потому что, как она объясняла Фоме, и он, Фома, и она, его мать, все больше и больше освобождались друг от друга, становились чужими, и потому Фоме все труднее и труднее было услышать ее слова, хотя она по-прежнему говорила ровно и размеренно, и был в ее словах только смысл, чуть прохладный смысл и маленькое-маленькое эхо. Фома рвал с матерью какие-то свои связи, которые раньше помогали ему слышать и видеть все в мире, он учился быть один, то есть без этих вот связей, о которых он сам не мог ничего сказать определенного, но потерю которых явственно ощущал; он вслушивался в себя, в эхо материнских слов, сжимал и сжимал лоб, холодел висками. То,

что он слышал и захотел понять за последнюю неделю было неприятно ему, было неприятно и то, что мать, он все еще не придумал или не узнал для себя другого понятия, – ЗНАЛА о том, что ему неприятно, и все же говорила спокойно, ровно и незаинтересованно о вещах, которые она хотела сказать, и ей было неважно, хочет или не хочет их слушать Фома. Он слушал. Иногда он затыкал уши, но у него было ощущение, что и мать сразу замолкает, и просто пережидает, вовсе не обижаясь на него, когда же он вновь откроется, и он открывал уши, улыбаясь своим хитростям.

Совсем же доконали Фому последние три дня этой последней недели. Эти дни они молчали. Фома сидел, закрыв уши, твердо зная, что и мать молчит и ждет его, когда уж он сможет, когда найдет опять силы. Он силы не нашел, а просто устал, устал ждать, и стал слушать, слушать последнее, что ему говорила мать. Чего ж так не хотел услышать Фома, разве есть еще что-нибудь, что могло тронуть его, принудить к такому долгому огорчению? Оказывается, что есть. Это почти невероятно, но все дело в сочинении, которое Фома прочел вслух Ирине, женщине, которая была в недоумении, что и как, зачем это все и почему. Фома забыл эту женщину, эту Ирину, забыл, что смеялся ее нелепым страхам, забыл, что и читал ей, и был приперт к стенке, когда мать узнала и заговорила об этой его лжи, об его сочинении, об его пьесе «Круги». Она так и сказала: Неужели же ты не устал от всей этой лжи, сынок, неужто не устал?

Фома сразу понял в чем дело, и это-то его огорчило больше всего, словно сидело в нем это желание, чтобы кто-то определил резко и прямо, а он сразу же согласится. Фоме такое было особенно неприятно, потому что ему казалось, более того, он всегда яростно стремился к истине в себе, ему казалось, что себе он не врет, он знал за собой возможность лжи с другими, даже мог оправдать ее перед собой, перед другими, мог просто наплевать на оправдания, не снизойти до них, но все только потому, что он знал, что сейчас по тем-то и тем-то причинам лжет; но узнать, что лжет, вроде в уверенности, что говорит правду, и верить в эту правду, а потом, когда кто-то резко уличит во лжи, сразу согласиться, что будто и не новость это, будто всегда сидело внутри, и только таилось до поры; узнать про себя такую несостоятельность и мерзость было Фоме неприятно, очень неприятно, потому-то он и заткнул уши, когда мать сказала об этом в первый раз, сказала спокойно и без удивления: Ну, неужто, сынок, тебе не надоело кормить в себе ложь; и хотя каждое сочинение ложь, как и ложь любая записанная фраза, в сравнении с той, которая живет в крови, в частицах ЧТО-ТО, и уж пьеса, конечно же, ложь, все же Фома сразу понял, что не о такой лжи говорит мать, не о вымысле, нет, нет, нет, совсем о другой говорит мать, когда спрашивает, неужто не надоело, неужто не притомились.

Глава восемнадцатая

Она сказала: Бог с ним, с отцом, сынок, бог с ним

Действительно, бог с ним, сынок, бог с ним, я не об этом. Он живет, спокойно живет в другой семье, и там есть другие дети, бог с ним; я понимаю, что тебе хотелось какого-то большого страдания, более значимого и светлого, более серьезной разлуки с отцом, чем та, которую имел ты, раз ты решился даже осудить себя на проклятье отцеубийцы, и придумал, что мальчик, который, ты знаешь, очень похож на тебя маленького, виновен в смерти отца, и живет проклятым этой виной, с приговором, который сам себе вынес; я все это очень хорошо могу понять, сынок, поэтому я повторяю, бог с ним, с отцом, сынок, бог с ним, не в этом дело.

Ты просто отдал дань времени, дань промежутку, дань морали и цели этого людского промежутка, тут нет еще никакой лжи, раз ты все же веришь, что есть люди, и что тебя тревожит их мнение о тебе. Тут еще нет лжи. Тем более ее нет, что все это писано в ожидании смерти матери, и потом, даже с некоей болью и просьбой понять боль, рассказано женщине,

к которой поехал с кладбища, и с которой как следует сделал все, что надо, и даже имел страдание. Женщина, с которой спишь, всегда хочет, чтобы ты, растоптавший ее, топтал бы и весь мир, так ей было бы легче признать свою вечную суть быть растоптанной, так ей легче искать обман, что ей вроде обидно это, иначе ведь она скоро смирится и станет сильнее в своем смирении, а ведь смиренного и покорного нельзя уж растоптать?

Женщина, с которой спишь, всегда интересуется политикой в том смысле, в каком ее мужчина смеет плевать на власть, а ты в своей пьесе «Круги» «наплевал на Сталина, а она еще помнит об этом человеке, она ведь еще в этой временной длительности, и ты пугал ее и радовал по самому крупному для нее счету, но тут, сынок, нет лжи, тут просто суета, просто мольба по женщине, по ее ласке, растоптанности, мольба по собственному могуществу, потому что если не будет этой мольбы, то не будет и могущества, разве смиренный и покорный пустит в себя эту суету?

Нет, тут нет никакой лжи, тут просто ритуальные игры.

Ты хотел женщину, ты искал женщину, которая содрогнется твоей силе, раз ты сумел в себе открыть такое, открыть отцеубийцу и ребенка, молящего мать не упасть в пути, потому что может открыться ложь, которую ты несешь сзади следом, и не падение открывшего тебе мир существа тревожит тебя, а вроде ее обвинение; и смерть ее уж и радость?

Что ж, сынок, твоя бы женщина ласкала тебя хорошо, и верно будет это, когда она найдется, пока же все было комично, а, сынок, ведь твоя Ирина решила, что с тобой не стоит иметь дела, можешь не помочь даже сделать аборт? Ну, не сердись, не сердись, не обманывай себя злостью на меня, ты же знаешь, что все это пустяки, и тебе будет опять смешно, как когда ты три дня сидел закрыв уши, словно можно не слышать мать, которая сидит в тебе, которая сделала тебя из своего нутра, да еще и из нутра твоей бабки?

Ритуал соблюден, сынок, женщина будет у тебя, будет, сынок, если она еще понадобится тебе впредь. А?

Вот я что имела в виду, когда сказала об отце, все это можно иметь, можно даже иметь гордость нарушившего закон, когда сдираешь с себя кожу в обвинении людей, их жизни, их страхов, их нелюбви к тебе, вроде бы она и нужна тебе, а? Можно, конечно, кричать, что тебя заставили убить своего отца, хоть ты его никогда и не убивал, можно, сынок, и это не ложь, о нет, это не ложь, это ребячья боль и ребячья жажда искупления, которая была у многих, ты не первый, не первый, не первый. Тут, сынок, дело во вкусе, понимаешь, просто во вкусе, я бы этого не стала делать, мне это показалось бы безвкусным, искать женщину и славу таким способом, уж лучше повалить ее в жаркой одуре сена, как всегда раньше делали по весне, но пойми меня, пойми, и не закрывай уши, и не ищи обиды и зла, мой маленький, ой, не надо этого делать, не теряй времени, мальчик мой, очень мало его у меня осталось, а я вижу, что ты только-только начинаешь понимать, к чему я веду разговор, пойми и прости меня, что я не сделала его раньше, хотя у нас было тридцать твоих лет и девять месяцев моей тоски и страха, а сейчас только сорок дней, сынок, только сорок дней, сорок сороков печали, но ты прости меня, я не умела этого знания, потому что была живой и дралась быть живой, и ты мне был нужен живой для моей жизни, и я, даже если б уже научилась тому, что знаю, не раскрыла б тебе, потому что это наука умирать, а не жить, сынок, и вдруг бы ты у меня ушел, а я ведь хочу жить, и как мне без тебя, а?

Сорок дней, сынок, сорок дней может учиться человек смерти, может узнавать и искать гордость, все равно прожить и испытать, но люди или делят добро умерших, или спасаются от учебы горем и плачем, боясь правды, боясь муки, но ты ведь ищешь ее, сынок, ты даже мольбу сочинил о большой мере, так не лги же, сынок, не лги себе, скажи, что у тебя есть мука и радость сдирать с себя шкуру, показывать всем неверующим сердце свое, и смеяться, смеяться, смеяться, и делать ВИД, что тебе больно?

Разве женщина нужна тебе, мой сын, разве женщина, разве плод ее нужен тебе, ты же многое узнал уже, многому научился, человек, узнавший, что ты не человек, а часть ЧТО-ТО, которая пришла в мир и уйдет из него, став другим видом ЧТО-ТО, и людская гордость – чушь и смех в тиши; так неужели, сынок, так велика в тебе мораль вашей длительности, людской охранной грамоты, от божьего сотворения и до вершины эволюции, до феномена, да, да, уж если и есть у вас феномен, то это феномен лжи и страха правды, а ты ведь сидишь на могиле в снегу, рядом с тобой стоит твой живой отец, он пьян, ты сейчас возьмешь у него водку и выпьешь тоже на морозе, потому что на сорокой день пьют на могилах; ты это все сделай, сынок, сделай, не в том суть, чтобы по мелочам не соблюдать ритуала, ты просто больше не бойся, сынок, ты ж ведь искал полной меры, так ищи ее, не петляй, не обманывай себя обидами и заинтересованностью в их конкретных делах, не обманывай себя и заботой о хлебе, это тоже охранная грамота ЧТО-ТО, которое соединилось в людей и создало людскую мораль, чтобы ограждать себя, чтобы не погибнуть сразу, не исполнив своей предназначенности в длительности смысла-еще-рано-гибнуть-людям-еще-многое-надо-понять-людям-пусть-дрожат-за-свою-живую-жизнь-и-убивают-пророков-которые-зовут-их-к-распятию-а-потом-молятся-им.

Глава девятнадцатая

Солнце еще не остыло, сынок

А тебе уже нужна смерть, сынок, и не лги себе больше об ином, не утомляй себя, не трави.

Солнце еще не остыло, сынок, и людям еще не надо твоего знания и приятия смерти, им еще нужна учеба жить и верить в свое могущество, поэтому они будут убивать тебя, сынок, и убьют, а ты не лги, что тебе это не в радость, не утомляй себя больше ложью, сынок, не надо, это нехорошо. Потом, когда-нибудь, когда станет темнее и холоднее на земле, спокойствие принять смерть и даже найти в этом опять-таки гордый людской смысл заставит их вспомнить о тебе, но что тебе до того?

Вода бежит и не знает, что она вода, а если б узнала, разве б остановилась?

Разве б устал огонь, и перестал бы быть, если б узнал, что он огонь? И кто может сказать, что он этого не знает?

Только тот, который не хочет еще принять в себя, что и он не конец и вершина всего, а только часть, как все иное. Но людей нельзя винить за это их нежелание, это не они, как бы им ни хотелось думать, что все же они, нет, это придумало солнце, которое не знает, что оно солнце, или знает, и знает, что остынет, чтобы зажечь другое. Гордость человека в том, что он осознал свой путь к смерти и к изменению, этого отнять нельзя, да и не нужно.

Человек – это осознавший себя процесс изменения из ничего в ничто, или из всего во все.

Только это еще рано узнать людям, понимаешь, всем людям, это пока ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ гордость, а не ЛЮДСКАЯ?

Они убьют тебя, сынок, и ты примешь в себя все, примешь без сказки о воскресении.

И не лги, что тебе нужны эти сказки, не лги, ты повзрослел на двадцать веков, сынок, с тех пор как другой сделал это, уверив себя, что он божий сын, и воскреснет. К ЧЕМУ ТЕБЕ ВОСКРЕСЕНИЕ?

Глава двадцатая Хотелось бы прорасти

Зимой на кладбище просто и хорошо, там не бывает ветра, а зима в безветрии рай. Тихие хлопья ищут, кому бы показать свою красоту, садятся на плечи, на ресницы, ждут, пока люди крикнут «ах-ах-ах», и сразу тают, наивно думая, что люди поймут их тайный смысл научить, что все преходяще, вот вы только что видели белую красоту, а сейчас у вас на носу грязная капля, и-эх, снежинки, пустое это дело.

Фома пошевелился, чтобы немного размять шею, которая застыла и сникла под тяжестью снега, рухнула меж колен на низкой скамейке к белой земле, чтобы немного удержать голову, бегущую к матери вниз.

В этом шевелении Фома нашел тишину, вначале он не обратил на это внимания, потом же понял, что тишина пришла, потому что нет больше голоса матери, пожалуй, он так и не найдет другого определения, другого понятия, да и искать не будет, оно его вполне устраивает. Тишина-тишь-тишина.

Гиблое это дело пытаться удержать голову солдатиком, когда она просто и безропотно валится вниз, Фома покорился, и голова плюхнулась в снег. Но и там не было голоса. Тишина-тишь-тишина-тишь-тишина.

Уже навсегда.

Руки Фомы подкопались с обеих сторон в глубине снега к голове, нашли открытые в снегу глаза Фомы, и красными мокрыми пальцами вдавили белки вовнутрь. Фома открыл рот от боли, и туда вошел колючий белый пар, побежал торопясь к сердцу, но все же согрелся в пути и не убил.

Фома сполз со скамейки в колени, рыл снег руками, выл даже, чтобы убрать тишину, но все зря, она ведь уже пришла, эта тишина, а он все не верил, думал, что, может, нет. Тишина-тишь-тишина-тихонькая-тихонькая тишь.

Кресты засунули руки поглубже в рукава, застыли, оттопырив локти, потому что и к ним забралась в душу тишина, заставила замереть-застыть. Фома заметил их присутствие, понял логику их позы, сделал то же самое, поднялся с колен, засунул руку поглубже в рукав другой, оттопырил на вдохе локти, стал среди них молчком, оглянулся, правда, не станут ли шуметь. Они не стали и, видимо, сочли его решение вполне зрелым, потому что продолжили неторопливую беседу, которую прервали, когда Фома пытался прекратить тишину. Фома заметил про себя, что вовсе не удивился, что понимает их разговор, а принял это как само собой ясное. ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРОРАСТИ, – сказал один из них, и все промолчали, словно он высказал все, что хотели сказать они, и чего уж тут продолжать. Но это случилось ненадолго, потому что кто-то другой из них сказал вновь, покорно, не жалуясь, определяя истину: ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРОРАСТИ. В их голосах не было ничего, кроме смысла, и Фома напрягся, так как соединил, что и в голосе матери была их интонация незаинтересованности, а просто фиксация истины: ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРОРАСТИ ЗЕЛЕНЫМИ ПОЧКАМИ ПО КРАЯМ. Когда-то давным-давно так и случалось иногда, и даже часто, но вот потом, когда люди придумали крестную муку и распинали рабов на них, на крестах, а особенно после этого ИЯСА, который знал и искал креста, ни разу не случилось среди них, чтобы кто пророс зеленым побегом.

А ТАК ХОТЕЛОСЬ ПРОРАСТИ.

Дело в том, что дерево, еще даже в семени, знает, что именно оно пойдет на крест, и оно не видит солнца, не пьет молоко земли, когда зреет в животе у матери, не хочет, не хочет рождаться, а родившись, стоит укором для всех иных деревьев, и они знают, что вот ему суждено пойти на крест и не прорасти, стыдятся своего счастья, и отбирают у отмеченного

последние крохи солнца, тесня его своим стволом, своей жизнерадостностью, тенью своей листвы. С ними никто не разговаривает в лесу, да и право же, о чем тут говорить, и они скорее уж ждут, чтобы их срубили, чтобы их убили, потому что только так, и никак иначе не могут они найти собеседника, друга и даже подругу, которая бы знала, как они, тоску и никчемность, и снова тоску прорасти.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРОРАСТИ ЗЕЛЕНЬМИ ПОЧКАМИ ПО КРАЯМ, ЭТО БЫЛО БЫ ТАК ХОРОШО.

Раньше, когда крестов из дерева было много, они не так скучали, а даже вроде считали себя как бы избранными, особой кастой одиноких, и их тогда не обижали в лесах. Но вот стали делать кресты из железа, мрамора и прочих других предметов, вот тогда-то пришла к ним настоящая тоска, они стали вроде неудачниками, просто напросто недотепами из плохих семей.

ЭТО БЫЛО БЫ ТАК ХОРОШО, ЕСЛИ БЫ СБОУ, ВОТ ЗДЕСЬ И ЗДЕСЬ, ШУРШАЛ БЫ И ПАХ ЗЕЛЕНЬИ СТРУЧОК.

А ведь все из-за людей, все из-за них, которые даже самые явные факты истолковывают потом, как им выгодно, как они хотят. Вот, к примеру, этот, ИЯСА, он ведь сразу, как родился, искал крест, и может, если бы еще такая кровь на нас, то мы и прорастали бы, а ведь как повернули все, а?

Он родился и быстро, отчаянно быстро искал уйти, ему было трудно в саду, мы знаем, хоть с нами и не разговаривают, но слушать-то мы можем, мы знаем, что он плакал в саду, и просил, может не стоит, а, но потом, мы это твердо знаем, здесь есть даже один из наших, который был взят из того сада, мы знаем, что он обрадовался. Мы все думали, когда его ученики, которые все это проспали, и потом стали искупать себя и учить жить, как он жил, мы все думали, что они станут учить желанию и не боязни умереть, ведь он, этот ИЯСА, он же всю свою жизнь торопился умереть, и учил, что ничего не надо брать в этой жизни, а только любить всех и прощать всех, а разве ж это не учение о презрении к жизни и спокойствию смерти? Разве такая любовь не есть уже смерть? Так как все повернули, хотя видите ли, они благовествуют, евангелия, его жизнь? Терпи, мол, но живи покорно, тяни ляжку, за то воздастся. Нет, не потому не прорастаем мы, что на нас его кровь, нет, не в этом наше наказание, просто он стал смеяться над людьми, ИЯСА, он стал думать, что мы испугали их своим видом, и озлился на нас. **ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРОРАСТИ,** – сказала береза, которая тоже стала крестом, женщина стала оскопленным мужчиной, – **ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРОРАСТИ?**

ЕГО потому и убили все, все вместе, тут кровь на всех.

Потому и убили, что он был сыном солнца и учил, уже **НАЧАЛ** учить спокойствию и готовности уйти, а они только учились жрать и рожать, где им было до него, убили с радостью, чего тут попрекать книжников, которые берегли старую веру от него, убили все, весь род людской, чтобы самим живыми быть, чтобы не пустить эту его тоску к себе в сердце.

Но сами всегда знали и знают, кровь их знает, тепло, которое уходит, все же знают, что придет пора, потому и сделали его святым, богом, сыном **ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ**, а не **ЛЮДСКИМ**.

МЫ Б ТОГДА РАСПЛАСТАЛИ РУКИ, И ЛАДОНИ БЫ ПАХЛИ СМОЛОЙ И МЯТОЙ, И БЫЛО БЫ ШУМНО, А ТАК ТИШИНА ХОЛОДИТ, МЫ СУЕМ РУКУ ПОГЛУБЖЕ В ДРУГОЙ РУКАВ, И ПОДНИМАЕМ НА ВДОХЕ ЛОКТИ, СОВСЕМ КАК ТЫ, ФОМА. ХОТЕЛОСЬ БЫ, ТЫ ЗНАЕШЬ, ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ.

Глава двадцать первая Фома сказал: Здравствуй, отец

Фома поломал крест рукавов, подошел к человеку, который повис на могильной ограде, положил ему руку на мокрое от снега и плохого драпа плечо, сказал: Здравствуй, отец.

Фома не видел этого человека лет пятнадцать-шестнадцать, с тех пор, как он ушел из дома, и больше не тревожил себя и мать Фомы, и Фому, визитами и заботами, ушел и все тут; потом нескоро вроде обзавелся еще семьей и детьми, но как-то случайно, не по своей, что ли, воле, потому что и ушел он тогда, бросив мальчугана и женщину, которая родила ему собственное пахучее существо, из-за острого и постоянного ощущения никчемности себя, иных, всего, что видел и знал.

Мать Фомы очень любила этого человека, она любила его всегда, сразу, хотя знала, что он когда-нибудь обязательно уйдет от нее, виновато хмыкнет и уйдет куда-нибудь умирать, но сил не найдет сделать это, и его подберет кто-нибудь по пути. У него не было даже сил придумать историю причины невозможности остаться, он только никак не мог найти РУКАВ, когда одевал пальто, и мать помогла ему это сделать, а он сказал ей спасибо. Фома не очень огорчился его уходу, пожалуй, даже обрадовался, потому что помнил всегда глаза отца, когда тот крутил его под потолком у лампы, все же крутил, хотя должен бы был накачать или убить, потому что боится Фома на красном паркете, и колени саднит от воска и мастики, и руки гонят мурашки по телу от жира воска и жира вельвета. Отец Фомы стоял в дверях, а мать Фомы засовывала в его потрепанный драповый карман сверток с бутербродами на первое время, сверток не лез, становилось от этого много смешнее-смешнее-смешнее-смешнее, но, ей-же-ей, совсем не легче. Мать Фомы очень хотела от него ребенка, хотя знала, что останется с ним потом одна, но хотела, думала, что, может, спасет его этим, а если и нет, то хоть будет плод от него, от такого, никчемного и покорного в этой жизни. Какие только истории она ни сочиняла Фоме, когда он тихонько ел ее внутри, и пинался, когда ему что-то не нравилось; историю про обиду, что муж ее, НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА, уходит от ее коричневых пятен и острого живота к другим женщинам кутить и веселиться, и как Фома понимал уже тогда про эту ложь матери и еще сильнее и острее растил в себе нежелание быть, потому что ведь будет определен этот тихий и неподвижный человек его отцом. И отец веселился в тот праздник, веселился хорошей ночи с женой, веселился, чтобы сын мог поверить все же, что не зря объявился в мир мужчиной, и как спросил тогда, зная, что ответит ему Фома, но все же спросил, как все же крутил под потолком у лампы, поправил штанишки и спросил, а Фома нашел мать и ударил ее ответом, потому что это она хотела зачать, она и зачала, и хоть потом узнала всю беду Фомы на земле, и не хотела, и кричала, чтобы он крепче держался за ее нутро, чтобы вырвал его совсем, если надо, вместе с сердцем и легкими, и криком в горле, со всем, что нужно Фоме, чтоб удержаться, хоть и опомнилась, но все же она и только она обрекла его идти по долгой дороге, где рядом крадется ЧТО-ТО, может, вот здесь по канаве у обочины, чтобы смотреть, когда устанет человек, и не дать ему силы устать и прекратить этот путь, не дать чем-нибудь славным, скажем, жаркой девочкой, неумелой и тихой в юности, или жаждой подвига и приятия смерти во имя его, потому что такой уход – это не уход, которого боится ЧТО-ТО, покорный и ласковый выход, когда никак не попасть в РУКАВ, и завтрак не лезет в карман, и надо показывать сыну на праздник, как хорошо себя чувствует мужчина после ночи с женой, когда женщины курят вокруг, и много подвигов впереди.

Отец Фомы еще раз помялся в дверях, вытер ноги, словно вошел с улицы, а не собиравшись выйти к ней, отец Фомы вытер ноги и ушел за дверь, чтобы посмотреть, может, ЧТО-ТО пропало в канаве у дороги, по которой он все же идет, а хотел бы прилечь отдохнуть.

Ему казалось, что он обманет ЧТО-ТО, успеет как-нибудь прошмыгнуть и улечься, как будто давно уже здесь лежит, он в это верил, отец ФОМЫ, и не его вина, что не так это просто нарушить порядок, который установило ЧТО-ТО: людям-еще-рано-умирать-просто-так-выходить-и-умирать.

Где-то к вечеру отец Фомы захотел есть, полез в карман и достал бутерброды, он услышал рядом с собой веселый смех, оглянулся, но никого не увидел на пустом в дожде бульваре, да и не мог увидеть, это смеялось ЧТО-ТО, смеялось в нем самом желанием есть и продолжать. Фома убил его в пьесе «КРУГИ», взяв на себя эдакий груз, но и его все же можно понять, ведь эдакий груз много легче, чем знание, что на могильной ограде висит живой твой отец, такой вот, никчемный среди людей, покорный человек. Поэтому-то мать Фомы и сказала ему в их милой сорокадневной беседе, неужто тебе не надоело врать, сынок, неужто ты не устал? Вот какую ложь она имела в виду, мать Фомы, потому что он по-прежнему называет это матерью, хотя он материалист, и понимает, что она не могла с ним разговаривать, так как он сам прикрыл ей глаза, когда она вдоволь повеселилась, и объявил смерть для всех.

Отец Фомы не услышал его руки и слова, и Фома повторил: ЗДРАВСТВУЙ, ОТЕЦ, ЭТО Я – ФОМА.

Глава двадцать вторая **Фома закричал: Это я, отец, я – Фома**

Но отец по-прежнему покорно висел на могильной ограде черного лака, спокойной и строгой, которую они соорудили с отчимом и ладненько сумели зацементировать, хотя земля промерзла, да и снег мешал.

Фома никак не мог увидеть лица отца, потому что тот продел голову между РУКАВОВ ограды, которые гордо и утонченно, словно накрахмаленные, торчали кверху, а руки отца далеко отделились от РУКАВОВ драпового пальто, и висели рядом, вдоль стройных женских рук ограды, смешные мокрые тряпки на чердаке, чтобы быстрее просохли. Руки матери держали и сейчас отца Фомы, как всю жизнь держала этого человека мать Фомы, и могильной своей оградой опять не дает ему пасть, пасть в прах, пасть, чтобы, может быть, ПРОРАСТИ, просто тихо прилечь и сделать вид, что это уж я давным-давно, очень давно, очень

ЭТО Я, ОТЕЦ, Я – ФОМА, Я – ТВОЙ СЫН.

Фома отвинтил гайку на болте, которым они с отчимом придумали запирают ограду, открыл калитку и вошел внутрь, чтобы как-то добраться до лица отца, Фоме очень хотелось его узнать. Снег сравнял все в белое, и Фома споткнулся о холм, упал, решил, что не стоит вставать, пополз по канавке у обочины к лицу, которое висело высоко наверху между тонких и крепких ветвей дерева, которое проросло лаковой недорогой оградой.

Фома смотрел снизу вверх и не мог насмотреться.

Холодные руки нашли лицо Фомы и погладили его, а лицо наверху уронило в Фому слезу, и она убила глаза Фомы в одинокий крик.

НЕ КРИЧИ-НЕ КРИЧИ-НЕ ШУМИ.

Это тихо сказал крест, не шуми, что ты знаешь о боли, Фома, что ты знаешь о том, что нам никогда уж, поверь, никогда, не сумеешь никак закричать, а, Фома? А когда-то кричал один из нас, так кричал, что рухнули стены города, вот какая боль была у него от жаркой крови на себе, крови ИЯСА, понимаешь, на себе, на руках своих, которые побратались гвоздем с руками ИЯСА, как и остов его побратался с крестом ног ИЯСА?

НЕ КРИЧИ-НЕ КРИЧИ-НЕ ШУМИ.

Тихо ляг в снег, Фома, отца своего достань из ограды и положи рядом, обними его крепко и тихо, и поспите немного здесь с нами, Фома и отец Фомы, а мы постоим, чтобы вы не замерзли. Сделай так, Фома, это хорошо. Лицо отца положи поближе к своему, и согрей

его своим дыханием, Фома, он ведь много старше тебя, и у него еще есть дети, что будет с ними, Фома, если он упадет в пути? Жарко-жарко дыши, Фома, чтобы боль его слез не вымерзла-съела глаза льдом, потому что куда ж ему брести слепому, он и дороги-то домой не найдет?

Фома дышал в отца, тер его пальцами, как когда-то давным-давно дышал и смотрел сквозь замерзшее стекло трамвая, какая там остановка?

Глава двадцать третья Папа был маленький и легкий

Потом они действительно выпили.

Отец Фомы достал из бокового кармана начатую бутылку, которая была заткнута промокшей газетой, Фома глотнул, а отец поставил стекло в снег, так как оно нагрелось там у него в кармане; Фоме же это было вроде приятно, вроде тепло отца к нему коснулось, а отец хотел просто выпить, ДОПИТЬ, и потому поставил остатки в снег, стекло юркнуло сразу вниз, как тогда гвоздь у Фомы, но отец оказался проворным и начеку, ловко кинул ладонь вдогонку и успел под донышко, тихо засмеялся успеху и совсем не смутился, когда услышал свой смех в зябкой тишине кладбища; а Фоме показалось, что это какой-то ребенок тревожит остановившееся своей нелепостью, он стал ждать хруста калош по снегу, но его не пришло. Фома глотнул еще раз, и холодная водка была лучше, вкуснее, и отец от этого стал тоже ближе, серьезнее, ЛУЧШЕ, потому что ведь это он сообразил и не растерялся поставить бутылку в снег и даже поймать ее, а Фома тогда гвоздь упустил и попросил еще, а тут бы уж, коли упустили, просить не у кого, да и не дадут.

ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ-ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ-ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ-ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ-ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ. ОТЕЦ.

Отец Фомы размахнулся и кинул пустую бутылку в кресты, а кресты, а кресты, а кресты дружно-весело засмеялись ему, подождали, пока он поднялся из сугроба, так как от размаха потерял равновесие и рухнул, подождали-увидели озорное лицо в снегу, прокричали Фоме – ТВОЙ ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ.

ОН-РЕБЕНОК-ТВОЙ-ОТЕЦ.

Фома заплакал. Он схватил в охапку этого пританцовывающего на могилах мальчишку, поднял в силу своих рук, потом прижал к себе надолго, прикрыл от всех кистями и головой, пошел прочь.

ПАПА БЫЛ МАЛЕНЬКИЙ И ЛЕГКИЙ, совсем как мать Фомы, когда села теплом на правое плечо, а он сделал ладонь домиком, чтобы не сдуло, чтобы не отнял кто.

Глава двадцать четвертая Сучья это должность, сынок, ей-богу

Знаешь, сынок, я называл ее по-разному, е-ей.

Нехорошая, тяжелая, нечестная, жуткая, будь-она-проклята, невеселая, почетная, страшноватая, никчемная, должность-по-заслугам, должность-судьба, гордая, единственная в своем роде, уважаемая, желанная, желаемая, нечеловеческая, одинокая, печальная, трудная, должность-жизнь, должность-кто-то-ведь-должен, должность-зачем, невесомая и бессонная, глухая-должность-тоска.

И все же мне больше всего понравилось это простое и ясное, которое ты услышал. СУЧЬЯ ЭТО ДОЛЖНОСТЬ, СЫНОК. СУЧЬЯ.

Я потому так прямо и начал, что это определение подходит, уж поверь мне, я долго бился, пока оно вдруг всплыло, я и решил, что лучше сразу тебе открыть его, потому что ты

бы невольно стал перебирать слова и искать определения, когда я стал бы тебе рассказывать о себе, о своей должности, и многое бы упустил по невнимательности, потому я и сказал самое удачное и простое, чтобы ты не отвлекался по-пустому, а слушал, слушал, слушал.

Ты несешь меня, плача, как маленького, я кажусь тебе из легкого легким, ты закрываешь меня от всего мира, чтоб не отняли кто, так неужели ж я мог допустить, чтобы ты теперь отвлекался по пустякам и искал прилагательные, как в школе, в первых классах? Запомни, что я сказал «сучья», и все тут, понимаешь, просто запомни и все.

Твои руки так выросли, так сумели меня всего обнять и укрыть, и еще ласкать, и еще нести, и терпеть тяжесть, и не знать ее вовсе, и определять даже легкостью меня всего?

Твои ноги так выросли, так умеют бежать по земле с грузом, так им в радость тяжелая ноша, так уверен их шаг и пружина, так и в холод, и так в жару?

Это вырос мой сын?

Ты?

Потерпи, потерпи с вопросом, кто я, и почему смеюсь на могилах, и швыряю стекло вдребезги по крестам, потерпи, я ж сказал тебе, малыш, сучья работа у меня, пусть тебе этого хватит пока, потерпи, потерпи, этой суете, удивись лучше, как ты слышишь меня, как ты знаешь меня, ведь я молчком молчу у тебя укрытый в руках?

Или так выросло твое сердце, что ты знаешь язык наш, язык отца и сына, язык сердца и сердца, язык крови и крови, язык ЧТО-ТО, который смеется над никчемными формулами феномена-языка? Тогда стой на секунду, подними меня повыше, еще повыше, к твоим глазам, дай я их обниму, дай прикрою губами.

ТАК.

Они теплые у тебя, Фома, теплые и живые, полные горячих слез, ребячьих слез на земле, малыш, мой сын, в них покорность и незащищенность, в них открытость твоей матери, Фома.

КРЕСТЫ СМЕЯЛИСЬ ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮТ МЕНЯ, Я ИМ ПОСТАВЛЯЮ ТОВАР. Я РЕШАЮ, СОВЕТУЮ, ЧТО ЭТОГО ИЛИ ИНОГО ИЗ БОЛЬНЫХ МОЖНО ПЕРЕСТАТЬ МУЧИТЬ. И ЕМУ ПОМОГАЮТ УЙТИ РАНЬШЕ СРОКА.

Да, да, сынок, такая должность есть, и согласись, что я был точен в своем определении. Дело не в том, что люди кривятся от ПОДОБНОГО милосердия, дело в том, что, посоветовав такое, надо первому до конца принять смерть коллеги, компаньона, спутника по шагам.

А кресты веселятся оттого, что у них другие оценки времени, понимаешь, они уже знают, что очень скоро, когда цивилизация откроет секрет долголетия, и жизнь практически остановится, потому что мы будем в хлопотах о родивших нас, будем их охранять, вот тогда-то, знают кресты, люди опять повернут все так, как им будет нужно в той, в другой их людской длительности; люди придумают, что высшая моральная награда будет дарование смерти, как сейчас ордена и памятники; и семьи, получившие за некоторые заслуги право УМЕРТВИТЬ одного из предков, будут молиться на лучшего из себе подобных, которому будет дан жест решить и судить; вот они, кресты, и приветствуют меня уже сейчас, как одного из тех, отмеченных будущим доверием.

Тогда кресты станут вновь гордецами, их будут специально растить в дорогих породах дерева, а они, научившись терпеть и терпеть в изгибах, будут страшными в своей мести молчащих и предназначенных; вот отчего они ждут меня каждый раз на кладбище, я ведь там бываю часто, сынок, очень часто, а вот мама твоя моего совета не ждала. Да.

Согласись и посмейся со мной, это ж сучья работа, не правда ли? Ты ведь слышал, что они хотят прорасти на могилах?

Они ждут, что это случится тогда; они знают, что люди чтут ХРИСТА, они грустно называют его ИЯСА, ты слышал, смешно и грустно.

Но они ошибаются, правда, сынок; когда жить на одиноких могилах станет великой гордыней креста, он не захочет наследника, который вот тут прямо полезет из рук зеленой жизнью, говоря, вот и я, крест, вот и я, твой сын, твой сын ФОМА или кто еще, нет, тогда уж не будут ждать кресты шелеста листьев в себе.

Глава двадцать пятая Мораль моих клиентов

В комнате Фомы четыре стены, и это надобно отметить, потому что эка же тут новость: в какой комнате их не четыре?

Но в комнате Фомы сразу отмечаешь, что их именно четыре и вот все они тут рядом, их можно тронуть рукой, так все четыре близко и плотно прижаты друг к другу в дружном круге облезлых любителей игры в кости.

На одной из стен давно висел и дожидался, когда же придет отец Фомы и с криком уткнет в него свое лицо, вельветовый костюм Фомы, далекий человечек в коротких штанишках. Ждущий да обрящет.

Отец Фомы еще у входных дверей замер, сосредоточился, взял даже ключи и сам отпер и эту дверь, и дверь с четырьмя стенами внутри, и не зажигая света, словно бывал в этой маленькой камере уже много раз, не зажигая света и ничего не уронив в темноте, прошел к вельвету, который ждал его, и уткнул в него лицо, правда, без крика.

И вельвет не прогнулся тряпкой, чтобы ударить лицо отца Фомы о стены, а напрягся упругими запахами маленьких людей, их прелостью, писями, страхами и незнанием, отец Фомы даже поднял маленького сына в вельветовых штанишках, которые задрались и дали рукам отца голое тело, голые ножки сына, и стал кружить высоко под потолком, у самой лампы, которая, правда, сейчас не горела.

Фома с интересом все это ждал. Потом зажег свет, чтобы увидеть, как старый человек в мокром плохого драпа пальто закидывает вверх руки и перебирает пальцами вельветовый саван, податливый и покорно прикрывающий всякую впадину; от удара лампы по глазам отец прикрывался руками и маленьким сыном Фомой на отдельных руках этих. И хотя у Фомы уже который раз прошел озноб от сухого страха вельвета, об который вытираешь жирные вощеные руки, он все же прервал его и вынул из рук отца костюмчик, чтобы повесить его на место, отец цеплялся и тянулся руками, пока на сломался в Фому, в его правое плечо, чтобы сразу и надолго затихнуть, обласканным замереть, встреченным не помешать, поблагодарить, что не погнала его прочь мать Фомы, а нагрела плечо сына теплом, ведь знала, что уткнется в него в тоске человек, которому она никак не могла засунуть завтрак в карман.

Проклятая мораль моих клиентов, она отравила даже меня, сказал отец Фомы и уселся на сундучок, который стоит сразу, как войдешь, направо возле двери, сундучок старой работы. Отец Фомы никак не мог отделаться от памяти, что он здесь уже бывал, или во всяком случае где-то в очень похожей квартире, а так как он ходит в гости только по делам своей должности, он и гнал свою память прочь, потому что не мог и не был его сын Фома клиентом отца. Фома же подал чай и остатки холодных макарон, которые греть не было никакого желания, а отец Фомы обрадовался им, и стал через длинную макаронину хлюпать в чае, пускать пузыри и смеяться, потом вдруг что-то вспомнил, сказал, что справа под столом должна стоять черная пишущая машинка «Олимпия», оставил макаронину карандашом в стакане, полез под стол и вытащил машинку.

Фома сказал, что все же нет, отец никогда у него не бывал, пусть не морочит себе голову, не в этом дело.

Торопишься, торопишься, – сказал отец Фомы, – а мы все прекрасно успеем, мне и не особенно много надо тебе рассказать.

И вообще, сынок, ты очень жадно спешишь взять себе мою должность, так жадно, что и не хочешь даже позволить себе сомнение в диагнозе, а согласишься, что мы могли бы с тобой, раз уж мы отец и сын, немного поиграть в ритуал, в сегодняшнюю мораль наших клиентов, совсем немного, чуть-чуть, для старика отца, который все же подвержен ей, которая все же отравила и его. Но ты спешишь, ты уже вынес мне облегчающий приговор, мне, своему первому клиенту, а ведь я, как-никак, твой отец.

Фома сравнивал, или, вернее, ЧТО-ТО сравнивало помимо него, без него, не спросив ведома у него, ЧТО-ТО рядом все время сравнивало голос отца с голосом матери Фомы, и голос отца был хуже, он был плох в страхе, тогда как в голосе матери был смысл и незаинтересованность, и свобода; но ведь было уже потом, отсек Фома неприязнь к отцу, которую для облегчения кормило в нем ЧТО-ТО, это было потом, после, после исхода, а в ожидании она тоже боялась и хитрила, и тянула, и даже заставила Фому принять в себя стыд, когда уж она.

Но твоя мать, сынок, не занимала моей должности, и не искала тебя, чтобы ты принял должность из рук в руки, из рук отца в руки сына, да еще чтобы передавший был и первым клиентом, первым пациентом твоим на новом поприще, так что я в проигрыше, сын, ЧТО-ТО и на этот раз более покорно и справедливо, чем твои суждения, суждения морали моих клиентов. Твоя мать, наконец, нашла всю себя и только себя, без всех иных примесей, но и там, обретая себя в полной мере, она не торопилась радости и гордости встречи, а все думала и думала о тебе, чтобы ты тоже бросил пустые представления о себе и покорился ходу, который только и есть незыблем, потому что он ход, шаг, процесс; ходу, необратимому ходу себя к иному себе, к подлинному, чтобы никогда не приблизиться в этой длительности, в людской форме ЧТО-ТО, но чтобы все же обрести себя, все же выскочить из мешка костей и крови, жира и воды, раз уж ты, Фома, задуман промежутком, задуман посредником между ЧТО-ТО и моралью, охранной грамотой ЧТО-ТО, которая-то и есть люди, двуногие с их гордостью феноменов, с их сложным ходом устройства уже собственной ОХРАННОЙ грамоты, с устройством уже собственной морали, в каждый век своей, жестоко незыблемой, настолько нужной для конкретных задач сохранения вида, что позабыли люди, что сами-то они лишь МОРАЛЬ, ОХРАННАЯ грамота ЧТО-ТО в ее длительностях, в ее ходе перевода земли в солнце, а солнца в иное что.

Моим клиентам, сынок, каждый раз кажется, что их мораль незыблема, прекрасна и вечна. Это грустно, сынок. ЧТО-ТО в раздумьях о своих длительностях, о их неторопливости и неспешности в необходимости начаться и кончиться только в срок, создало тем или иным путем род человеческий, наперед зная, что они-то будут заботиться о сохранении своей длительности с удивительным прилежанием учеников приходской школы. И даже лучшие из них, то есть наиболее непривязанные к своему виду, а ищущие ЧТО-ТО, ищущие себя и не боящиеся конца этих поисков, даже они, отрицая людскую мораль, смеясь над ней, доказывая ее лживость и переменчивость в процессе, доказывая ее неизначальность, все же сводят людские счета, они горды гордостью срывающего одежды в экстазе, но предлагают все же иную людскую мораль, просто людскую мораль иного порядка, они не хотят выскочить из своей тюрьмы-мешка, и это опять-таки не их слабость и трусость, это ОХРАННОСТЬ длительности ЧТО-ТО, и бог с ними, с моими клиентами, мы ведь не о них ведем разговор, ведь о тебе, Фома, о промежутке, о посреднике, толкователе, мы о том, чтобы ты-то не обманывал себя, не тратил времени попусту, а отдал себя ЧТО-ТО, потому что конечная цель ЧТО-ТО приручить людей к смерти, когда они наполнят воздух энергией своих мыслей, своего отданного тепла, своей плотской любви и жара, который опять-таки будет энергией; чтобы люди могли без боли, а даже с радостью ринуться в ВЕЛИКИЙ ИСХОД В ДРУГОЕ, чтобы продолжить путь ЧТО-ТО из самого себя в другую, более высокую, а потому подлинную свою суть. Люди должны, и это приказ ЧТО-ТО, все же иногда вздрагивать от сладкого предвкушения, и пусть они толкуют потом, как им заблагорассудится, о поступке или судьбе, пусть,

пусть, пусть, их кровь, их руки, их тепло, которое необратимо уходит, всегда будут помнить все же и предвкушать, и какое тебе дело, сынок, до того, что кресты поймали людей на малой лжи с историей толкования поступка ИЯСА, что тебе до их ЛЮДСКОЙ морали, которую они создали на многие века, многие ИХ века, и, быть может, совсем малую, ничтожную как один удар сердца, длительность ЧТО-ТО, пусть, пусть, их кровь, их части ЧТО-ТО не забудут и станут ждать. А в ходе их рассуждений все же есть логика для ЧТО-ТО. Вот смотри: сейчас люди в их временном промежутке бьются над смыслом продлить ЛЮДСКУЮ жизнь, отодвинуть смерть, понимаешь, не сократить жизнь, не учить смерти, а, наоборот, забыть совсем о морали ЧТО-ТО, а помнить только в гордости о собственно людской. Пусть так. Долголетие пришло, пришло скоро, еще при твоей жизни. Предки перестали умирать, какой великий праздник, какое счастье, ах-ах-ах. Но ненадолго, сынок. Потому что иначе жизнь остановится, остановится процесс, остановится ЧТО-ТО, это бессмыслица, это невозможно, что же будет с их моралью? Люди создадут иную, как много раз творили ее прежде. Да я уж говорил тебе об этом, когда ты нес меня к себе, но я не говорил тебе, что ЧТО-ТО опять смеется, опять в выигрыше, ведь люди-то в конце концов точно выполнили урок ЧТО-ТО: они охраняли его длительности, борясь за собственный живот, а потом привели свой вид к славной гордости приятия смерти. Думаю, сын, что сроки ЧТО-ТО, когда ему уж придет пора переходить в иное, совпадут с этой новой, вечной, незыблемой во веки веков ЛЮДСКОЙ МОРАЛЬЮ.

И БУДЕТ ИСХОД В ДРУГОЕ.

Вот видишь, сынок, я все это знаю, но мораль моей клиентуры, мораль сохранения вида так сильна, что и я оттягиваю свой срок исхода. Потерпи еще немного, вот в записной книжке адреса клиентов, которые больше других нуждаются в тебе, их новом пастыре, придешь к ним.

Потом отец Фомы вышел на кухню, зажег ЧЕТЫРЕ конфорки газа, вцепился руками в края плиты, и преклонил лицо в огонь.

Так он обрел себя, и встреча с собой, иным, была хорошей встречей, достойной, заставившей всех позабыть, что он однажды уже искал этой встречи, уходя из дома на обочину долгой дороги, и не смог встретиться, потому что захотел есть, а его жена положила ему завтрак в карман, большой завтрак, который сразу-то и не лез.

Глава двадцать шестая

Вторая мольба о сне

1.
Дай мне сон, дай, смотрел Фома на отца.
2.
Дай мне сон, дай, не глаза уж, а дыры огня.
3.
ДАЙ.
4.
Дай мне сон, дай, обнял отец крепко себя, крепко-крепко-в белую-кость-рук.
5.
Д-А-А-А-Й.

6.

Дай мне сон, дай, Я ЖЕ РАД ЭТОЙ ВСТРЕЧЕ ОТЦА.

7.

УБЕЙ МЕНЯ.

Глава двадцать седьмая

Фома сказал: Мы служили вместе с вашим отцом, Ирина

На похоронах отца Фома встретил другую семью. Они все стояли с низко опрокинутыми руками и молчали, иногда чему-то улыбаясь, и это производило в тишине и тихих голосах пришедших проститься странный скрип, недоумение и печаль. Иногда они все сразу посматривали на этих многих незнакомых пришельцев и переглядывались меж себя: вон сколько народу, оказывается, его знает и сочло необходимым проститься, а мы на него часто кричали, так, может, нам и уйти вовсе, может, мы не имеем прав на него, мертвого, как, в общем, никогда не имели, а всегда хотели и требовали, и отнимали права на него при жизни.

Фома смотрел за ними из небольшого угла и прекрасно понимал шаг их размышлений, он даже вроде слышал и те корявости, которые возникали в их головах при этом неторопливом желании обрести форму, словесную форму для их недоумения, печали, нового запаха, который пришел в них после ухода главы семьи, кормильца, или еще там как. Поэтому Фома сказал из своего угла спокойно и ровно, имея право говорить в голос при общем шепоте: **МЫ СЛУЖИЛИ ВМЕСТЕ С ВАШИМ ОТЦОМ, ИРИНА. ОН ЧАСТО И С БОЛЬШОЙ ГОРДОСТЬЮ ГОВОРИЛ О СВОЕЙ СЕМЬЕ, О ВАС.**

Все гости повернули головы, они не знали Фому, хотели оскорбиться его ровному и чистому голосу, но сразу затихли, потому что кроме ровности-чистоты была еще в голосе Фомы и незаинтересованность в их мнении на сей счет.

Потом состоялся вынос, и Фома подошел в толчее к Ирине, которая смотрела на него с удивлением и опаской, почти так же, как тогда в ее комнатке после чтения пьесы «КРУГИ», когда Фома приехал к ней с кладбища, чтобы подышать ее воркотней и заботами, чтоб немного забыть о своих. Фома не знал тогда, что она окажется его сестрой, и был несколько удивлен, когда увидел ее сейчас, и решил, что ей будет трудно узнать в нем своего брата, и представился сослуживцем, ничуть, кстати, не соврав, потому что сейчас он был действительно коллегой своего отца, более того, его преемником, наследовавшим должностное место.

Ирина все эти сорок дней не видела Фому, но вспоминала о нем с некоторой жалостью, потому что он остался в ней чудачком, но милым парнем, который не ругается и не обижает тебя после того, как наступает перерыв в ЭТОМ, а даже вот пьесу свою читал, нет, какой же странный он, просто даже нельзя рассказать подружке о нем, и Ирина действительно никому не рассказывала об этом своем приключении. Фома взял Ирину под локоток, и они шли каждый в своих раздумьях, каждый со своим знанием, вовсе неведомым всем иным. Так они дошли до места.

Когда бросали землю, был резкий звук, потому что и дерево, и земля замерзли и встретились в ударе коротко и злобно.

Потом Ирина сказала, чтобы Фома увез ее к себе, как тогда, помнишь, Фома, ты приехал ко мне, и я приняла тебя, и помогла тебе, ты должен сделать это, Фома, должен помочь мне. Фома сломался и забился в холоде, который выгнул позвоночный столб, ударил в затылок, согнув негнущегося Фому, ударил и прекратил легкие, и дыхание в них упало осколками стекла или льда по горлу, плечам, кончикам пальцев, у ворот клетки, где стучит свою работу сердце. Узник приостановился на время, повернулся и сквозь решетку посмотрел на Фому,

подождал немного, и опять застучал свой долгий урок. Фома кивнул Ирине, что конечно же, о чем тут говорить.

ОБЕРНИСЬ-ОБЕРНИСЬ-ОБЕРНИСЬ-ОБЕРНИСЬ-ОБЕРНИСЬ-ОБЕРНИСЬ-ОБЕРНИСЬ.

На Фому и на Ирину смотрел человек, самый стертый среди провожающих. Он подмигнул Фоме, что все знает, понимает, и никогда не решится судить, потому снимает шляпу и представляется, если, конечно, молодой человек ничего не имеет против.

АРАХНА. ПРОФЕССОР АРАХНА. ЧИСЛЮСЬ В СПИСКАХ ВАШЕЙ КЛИЕНТУРЫ ПЕРВЫМ.

Глава двадцать восьмая Вторая мольба о полной мере

1.

Так дай мне полную меру, повернул Фома глаза Ирины к себе, дай.

2.

Ты сестра мне, а я тебе брат, дай мне меру крика этих глаз, дай, дай, дай.

3.

Я знал еще там у могилы, что скажу ей. Потому и пришел. Дай мне боль, дай.

4.

Д-а-а-й. Дай мне принять.

Глава двадцать девятая Арахна – это по-гречески паук

Странное имя профессора заставило Фому порыться в справочниках. Он узнал, что так звали одну лидийскую девушку, искусную рукодельницу, которая решила вызвать богиню Афину на состязание в ткачестве и была превращена за это богами в паука. Лишь за один вызов, а?

ИРИНА-ИРИНА-ИРИНА-ИРИНА-ИРИНА-ИРИНА-СЕСТРА-ЖЕНА-ИРИНА-ДА-ДА-ДА-АРАХНА.

Профессор жил в пригороде, и Фома стыл в морозной одуре хвои по дороге к нему. Люди, с которыми Фома дремал в вагоне, торопливо унесли свои сумки из города вперед, крикнула еще раз далеко электричка, кто-то закашлялся сухо и зло, потом все умолкли. Фоме хотелось, чтобы залаяла какая-нибудь собака для полноты ощущений, одна собака и один звон цепи и свист проволоки о проволоку, когда она рвется к забору, но этого не было, и Фома подчинился некоей печали и продолжительности, которые притихли в нем. Фома сошел с натоптанного, нашел свою елку и ткнулся в холодные иглы лицом, они погладили человека, не оттолкнули, а мягко двинулись вместе с ним в его продолжительность, посыпали голову холодным пеплом.

ИХ НОВЫЙ ПАСТЫРЬ-ИХ НОВЫЙ ПАСТЫРЬ-ИХ НОВЫЙ ПАСТЫРЬ-КТО БУДЕТ МОИМ?

Фома лег на спину, широко вложил в снег руки крестом, и стал смотреть небо – белых застывших пауков на черной тряпке. Потом он немного поспал. Подождал, пока мимо пронесли тени с белыми пауками дыхания вместо голов, очертил робкой струйкой свой отпе-

чаток на снегу, вышел на тропу и зашагал уже просто и споро к профессору Арахне, который ждал его еще засветло.

Глава тридцатая Пациент № 1

Они договорились, что профессор будет называть Фому молодым человеком, ничего в этом обидного нет, он много моложе профессора, да и некая академическая кокетливость этого обращения должна быть понятна Фоме, а быть может, даже и польстительна, потому что в этот раз молодой человек меняется с профессором местами в прямых смыслах этих определений, и т. д., и т. п.

У Арахны было в доме хорошо, шумел настоящий самовар на струганом столе, была водка с корками, грибы и икра. Фома обрадовался всему этому, быстренько снял пальто и решил сразу уж помыть руки, чтобы потом не вставать и не отвлекаться. Профессор ему не мешал искать ванную, а только вроде бы не хотел, чтобы Фома так сразу в нее прошел и увидел там крюк и петлю, которые профессор Арахна прибил сегодня, проверил крепость на мешках с книгами, и воспользоваться которыми решительно собирался, если все будет благополучно и он сможет сговориться с молодым человеком; но Арахна думал, что тот посидит, покурит, отогреется, выпьет рюмку с мороза, а потом уж они и поговорят об их деле, потому что оно не такое уж срочное, если договориться в принципе. Кто ж его знал, что он захочет мыть руки, сразу мыть руки, лишь разделся, сам профессор Арахна не так уж тщательно следил за этим ритуалом и частенько обедал не мыв рук, потому-то так и оплошал.

Они помялись друг перед другом, и Фома вошел и увидел петлю. Фома отодвинул ее несколько в сторону, чтобы не мешалась и не терлась о волосы, наклонился и вымыл руки, холодная вода разогрела их. Потом Фома держал пальцы вокруг горячего старого стакана, пока профессор Арахна рассказывал ему о болезни людей, которые решаются или которым предопределено решиться спорить с богами, о болезни мозга, его паутиной оболочки, об АРАХНОИДИТЕ, убеждая Фому, что и миф-то о девице АРАХНЕ, которую боги превратили в паука, объяснял и скрывал предупреждение ЧТО-ТО людям, чтобы особенно не смелели в своих промежутках, не лезли б решать вопросы, и спорить, и состязаться, а то превращу в пауков, налью много жидкости в мозг, чтобы бились в падучей или тихо брели в свои сумерки, плели свою паутину связей, забыв, оторвавшись от начала начал, и только вновь и вновь петля в петлю, чтобы опять искать связь, и опять закидываться в петле, чтобы еще обрести, обрести связь связей без начала и конца, чтобы обрести безумие, чтобы выявить чистую ФУНКЦИЮ, только выход зависит от входа, а каковы уж они, и не надо знать. Ну, а если все же смеешь, если все же хочешь поспорить с богами, или если тебя определили в эти спорщики они сами, то ты обязан платить за эту решимость и гордость свою, если выбрал и решил сам, или платить им за то, что дали тебе право и гордость, хотя ты и не просил, и не знал даже, что они выберут тебя. Как ни крути, а долги приходится платить, молодой человек, ешьте икру, приходится платить, ведь ЧТО-ТО не хочет знать игры предназначенности, ЧТО-ТО знает и хочет знать только один закон: ПРЕДНАЗНАЧЕН-ПЛАТИ-НЕ ХИТРИ-БЕРИСЬ-И НЕСИ-И ПЛАТИ.

Остальные люди, люди без будущей АРАХНЫ в мозгу, этих несчастных вестников и разведчиков, этих посредников, обрекают еще и на вечный стыд и ощущение собственной преступности и никчемности, встречали ли вы, молодой человек, отмеченного падучей, который бы со страхом и стыдом не ждал ее вечно, не боялся пасть в прах и лить в него прокушенный язык? Так хитро плетет свою паутину-клетку-тюрьму большой паук ЧТО-ТО, кидающий в мир этих вестников, этих близких к нему, этих лучших частей его, этих АР АХИ, чтобы их обрекли на смерть люди, но чтобы и платили потом за их смерть вечным своим

раскаянием, а вестники всё чтоб шли и шли, зная свою судьбу, зная, что их ждет, сгорая в большой паутине мозга, чтобы могли здоровые презреть их, и убить их, и взять их болезнь в следующий промежуток, в следующую людскую длительность, где прежняя болезнь уж здоровье. Смешно и грустно, молодой человек, что меня обозначили даже идти среди людей АРАХНОЙ, но именно я ничем не могу похвастать на сей счет. Вы видите, я вроде и не стыжусь возможной этой болезни, вроде бы даже и желаю ее, но думаю, мой молодой друг, что если б я был действительно болен, то все же много тише, много тише молчал бы я об этой своей тайне. А ведь те, что рвутся на части в крике и ломке суставов в припадке, еще не самые печальные, есть и иные, покорные, тихо и внешне незаметно фиксируя только сами свой необратимый путь в паутину, когда уж и сам, и паутина, и крепость ее, и хитрость петель, и паук, тихо и незаметно внешне идущие, без резких разрядов крика в тоске, только наедине с собой, всегда с собой, где ты и лекарь, и судия, и больной, и тихий-тихий перезвон колокольцев в дуге над глазами, и золотые рваные нити в самих глазах, которые надо, ой-надо, ой-надо, сплести в паутину, и все никак, ой-никак, все никак. Есть примета, не правда ли, увидел паука, жди письма, жди вестей-новостей. И дуют такому паучку-вестнику в брюшко с благодарностью, и топчут ногами своей морали вестника, не выдержавшего груза признанного, груза новостей-вестей, упавшего в сломанном крике на землю, или тихо ждущего у решетки казенного дома, когда принесет ветер рвань золотых нитей, чтобы, может, поймать их в неслышном танце плохими кистями, чтобы засмеяться-за-тихнуть-подставить улыбку солнцу, и ждать окрика санитаров, чтобы не пугал нормальных людей по ту сторону ограды и шел бы в палату, псих, а то надает по шее.

ИХ НОВЫЙ ПАСТЫРЬ-ИХ НОВЫЙ ПАСТЫРЬ-ИХ НОВЫЙ ПАСТЫРЬ-КТО БУДЕТ МОИМ?

Профессор стоял у окна спиной к Фоме, слова ударялись в паутину мороза на стеклах, и получив легкий, чуть отстающий звон-перезвон, шли уж к Фоме, которому нравился его собеседник: маленький глухой голос в недвижных потертых брючках, вставленных в шлепанцы.

ТВОЙ-ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ-ОН-РЕБЕНОК-ТВОЙ-ОТЕЦ.

Профессор Арахна был действительно похож на отца Фомы, и его можно было очень легко представить швыряющим бутылку в кресты и отплясывающим танец мальчишек в плохих драповых пальто на могилах. Можно было даже предположить, что он будет вертеться на одной ноге, потому что со второй будет сваливаться шлепанца, еле-еле уцепившаяся за большой палец, и профессору этот акт шлепанцы очень нравится и повергает в дополнительное веселье с гуканьем и маханьем руками, возможным даже лихим сбросом шлепанцы во кресты, смехом и громкостью в тишине кладбища, с ЧЕТЫРЬМЯ газовыми огнями потом.

Фома неторопливо и плотно собирал мелькающие нити в одну ткань, он знал, что ему нельзя торопиться, нельзя опережать чего-то, чтобы не потерять уже найденного, заставившего его на миг замереть, указав истину.

ВАТАГА МАЛЬЧИШЕК-ВАТАГА МАЛЬЧИШЕК-ВАТАГА МАЛЬЧИШЕК-ВАТАГА МАЛЬЧИШЕК.

Да, это, пожалуй, так, молодой человек, вы правы. Если вы отметили, что я чем-то похожу на вашего отца, серьезно вам обязан, потому что очень любил его и всячески восхищался и завидовал. Ведь то, что он совершал обряд венчания, то, что он благословлял на этот брак, на эту брачную ночь, на эту встречу с женщиной, прекрасной женщиной, которую трясущиеся недоумки придумали почему-то старухой с косой, злобной беззубой старухой с острой опасной косой, то, что именно он покорно взял в себя эту службу, возвышало его среди нас, селило уважение в нашей ватаге, в которой ничто никогда всерьез не уважалось, кроме разве самого процесса, длинной этой усталой дороги. Ваш отец, молодой человек,

никак не хотел благословить и справить мою свадьбу, ты еще юн, Арахна, говорил он, тебе еще много и много надо додумать, твоя половая зрелость еще не настала, твоя встреча со смертью останется бесплодной, не горячись, Арахна, не горячись, тебе еще многое надо понять. У него была славная теория, молодой человек, очень славная теория, теория вашего отца, потому, быть может, он всегда говорил, что вы придете на его место, что вы ЗНАЕТЕ эту теорию, она в вас, в токе вашей крови, в том, что нынешние взрослые ученые величают генами, я ж занимался и размышлял, опять-таки говоря языком этих взрослых ученых, над проблемами психических мутаций, и он всегда говорил, что я поверхностен и тороплив, что я совсем не знаю языков, что разная формализация в язык у разных народов ведет к изменению состава генов, что психические потрясения каждой индивидуальности влияют на биохимию клетки, проводят мутацию, и следующее разделение клетки уже оздоровлено, даже если нет притока иной крови; вы знаете, молодой человек, как он умел шуметь, да-да, размахивал он перед моим носом рукавами своего несчастного драпа, да-да, плод негра и белого, или желтого и белого, конечно же, будет иным, но для того, чтобы заметить это, не надо быть особенно наблюдательным, не правда ли, Арахна; а вот плод англичанина и француза ведь тоже будет иным, хотя они оба белые и разделяет их неширокий пролив Ла-Манш. Он раздвигал большой и указательный палец, и тряс этим нешироким Ла-Маншем у меня перед носом. Формализация мысли, формализация процесса познания в английские значки дает иную структуру клетки, нежели этот же процесс во французских значках-словах, и нет, нет, Арахна, здесь нет никакого расизма, расизм – это политика, это возведение одной структуры в догму и примат для низменных целей сохранения разновидности, это удел людских моралей, уже только людских моралей, в их страхе и работе по сохранению их подвида, в их забывчивости о ЧТО-ТО, о том, что люди сами лишь мораль всего живого, мораль движения ЧТО-ТО. Потому, кричал он, они сейчас не могут принять в свою свору белых, черных негров, хотя, скажем, коммунисты отвергают эту мораль, не в этом суть, Арахна, суть в том, что пройдет срок этой людской длительности, и хилость этих отдельных наций будет налицо, а солнце еще не остынет, и ЧТО-ТО будет еще не готово к приятию их гибели, их естественной гибели от невозможности производить потомство, потому что они все будут дети и родители внутри нации, а их национальный шовинизм приведет и к одинаковости психических потрясений, то есть к отсутствию психических мутаций, они будут собраны на одной замкнутой территории, их гордости, их вершине цивилизации; все же, Арахна, они примут иную мораль, и их гордостью будут смешанные браки, Арахна, гармония великого исхода, гармония ЧТО-ТО, Арахна, не может ставить под удар себя из-за бреда и страха людского. Он прыгал по комнате, потирал руки, словно это должно было все произойти на следующей неделе, молодой человек, он был дитятей, ваш отец, дитятей вечности, он спорил об этих проблемах так, как штрафует милиционер нарушившего правила перехода, так же конкретно, так же уверенно, что его дела и заботы о вечности и гармонии ЧТО-ТО, о великом исходе, о браке со смертью, о половой зрелости запроданного ЧТО-ТО человека, о силе большого паука знания, о его половой силе, о сперме мыслей и мозга, о женщине-смерти, которую, расщепившись, оплодотворяет такой мозг, чтобы поселить их детей в тревогу ветра, в жар солнца, в радость предчувствия, что его заботы уже конкретность наших дней.

Ваш отец, молодой человек, любил сидеть, засунув рукав в рукав, он частенько говорил мне, что перенял эту привычку у крестов, а чашку с чаем – ставить перед своим носом на край стола, и пить его губами, без помощи детскости рук. Чашка часто падала, чай лился ему на брюки, и он смеялся, тихо покачиваясь туда и сюда, не размыкая креста. Он говорил, что его постоянно бьет озноб, что ему уж никак не согреться, вот только твой чай, Арахна, твой чай и мои прекрасные рукава все еще воюют за меня с проклятой дрожью моего холодка, который поселился в точной точке левого глаза, и свербит, свербит нескончаемую холодную нить в затылок, мне бы огня принять в себя, Арахна, много голубого огня

взять бы в глаза, может, я согрелся бы тогда, Арахна, я, пухлоногий. Он так часто называл себя, молодой человек, я – пухлоногий, Арахна, говорил он мне. Пухлоногим был Эдип, ЭДИП в буквальном переводе с греческого и означает существо, человека, с распухшими ногами, я не случайно сказал вначале «существо», потому что до греков слыл культ Эдипа, ему поклонялись, как божеству; ведь отец Эдипа, узнав, что ему грозит смерть от сына, пробил ему ноги и бросил в море, так ему наказал оракул. Мне было очень больно, Арахна, тихо смеялся ваш отец, потому что соль моря ест мои дыры, и мне никак не выплыть, раз ноги мне не помощники, мои дырявые пухлые ноги, которые бессмысленно бьют по воде, и она проходит красной сквозь дыры, и только соленый холод входит сквозь них в желудок, чтобы пробраться потом к глазам. Глаза мои видят на берегу плачущего Лая, моего отца, страх которого быть прекращенным пересилил любовь к сыну, а ведь мы бы с тобой, Арахна, обязательно и жадно стали бы растить такого прекрасного мальчугана, который придет нас венчать со смертью, но мы не будем винить Лая, если бы он не поступил так, не было бы мифа об Эдипе, славном пухлоногом мальчугане, который никак не хотел тонуть, потому что ему еще предстояло решить впереди много странных загадок, и он не хотел отдавать их никому, и бил своими кровавыми дырками по соленой воде, пока она вся не стала красной, и покорный дельфин, наш двойник, совсем уж безногий, потому что ему искромсали их когда-то в чешую и острые тряпки хвоста-плавника, не вынес его, правда, с холодным колотьем отчаяния в глазах, к другому, неведомому берегу. Эти, с продырявленными стопами, всегда зовут, вольно или невольно, своих братьев из воды, когда им приходится туго, помнишь, как этот ИЯСА, еще один пухлоногий, шел по воде, а; да он просто попросил малыша, такого же неумного и покорного, как он сам, и тот прокатил его на своей чешуйчатой спине – которая все же без ног. Возле Фив сидела душительница, имя которой Сфинкс, странная девочка, с крыльями и туловищем льва. Она знала, что только один мальчуган сможет освободить ее, дать возможность крыльям не раскрыться, когда она кинется вниз со скалы, чтобы умереть, чтобы избавиться от своего уродства, от своей никчемности, ведь не было у нее воды, соленой и холодной, которая скрыла от людских глаз ее сестру с искромсанными ногами. Она должна была узнать его, этого своего предназначенного освободителя, он будет мудр, очень мудр, он будет искать истину, искать начало начал, чтобы выдавить потом себе холод в глазах, чтобы согреться, чтоб пришло, быть может, теплое в них. Каждый раз, как путник, который шел мимо и не мог отгадать простой загадки ЧТО-ХОДИТ-УТРОМ-НА-ЧЕТЫРЯХ-НОГАХ-ДНЕМ-НА-ДВУХ-ВЕЧЕРОМ-НА-ТРЕХ, а она должна была опять томиться, в ней зрела злоба и жажда; потом она додумалась до очень простого, и сама тихо и славно смеялась этому, она узнала, что несмышленишей, которые каждый раз разочаровывают ее, надо душить, и тот, который нужен ей, чтобы отгадать и освободить ее, услышит и обязательно придет, потому что и торговля прекратилась, и славные Фивы стали хиреть, так как перестали ходить по дороге мимо нее, мимо Сфинкса, караваны. Так и сбылось. Она сразу узнала его, что это он, он, ее маленький прихрамывающий мудрец. Они стояли друг перед другом долго, он и она. И она тихонько улыбнулась, загадочно и просто, ведь она знала, что сейчас наконец умрет, освободится от своей муки, от своего проклятья поиска его, Эдипа, от своего проклятья убивать путников, чтобы дожидаться его, одного-единственно-го, который освободит ее своим знанием, но страшно будет платить потом за это знание, за ее, Сфинкса, свободу.

Он смотрел на нее и улыбался в ответ, только он один знал эту улыбку, только он один помнил ее всегда, и потом улыбался так сам, когда вспоминал, как молчала и не хотела, как колебалась загадывать загадку, которая сейчас будет решена, и крылья не раскроются, а он, этот малыш с такой доброй улыбкой, будет несчастен потом, может быть, не загадывать, а? Что ж, опять эти крылья, и это гибкое тело зверя, и страх перед нею, нет, нет, она загадает, пусть Эдип простит ее, она так долго страдала, так долго ждала, пусть простит. Она виновато

улыбнулась, и сказала, и, не дожидаясь ответа, пошла к скале, и прыгнула вниз, и крылья не раскрылись, потому что он познал вопрос. Но у него не пришло радости, хотя все должно было петь в нем, он освободил город, он возьмет себе в жены подругу обидчика, которого убил на дороге. Но радость не шла, а вот улыбка, виноватая улыбка девочки, которая с криком прыгнула вниз, радостным криком, бродила по Эдипу, холодила кровь, и он даже потер пыльными ступнями свои шрамы, которые сказали ему, что мы здесь, мы с тобой. Эдип часто просил их рассказать, откуда они, он просил свою кровь, но та не знала, и уговаривала Эдипа поверить, что если б знала, то сказала, и что ее мать – старая кровь, потеряла память, понимаешь, просто потеряла, она утекла тогда, ее память, в соленую воду моря сквозь дырки, и она не помнит теперь, откуда они взялись, все, что было потом она помнит, и вспомнит, когда это понадобится Эдипу Пусть он не сердится, Эдип, он сам тогда так сильно бил дырявыми ножками по воде, так сильно, что много-много крови ушло от него зачем-то. Два раза холод ударил Эдипа по глазам, он прикрылся ладонью от солнца, которое не могло их согреть, и принял царствование Фив. Он женился и родил, потому что таков был закон, но так обрадовался, Арахна, так обрадовался, так его холод скрасился теплом предчувствия, когда он стал искать убийцу Лая, что я подозреваю, Арахна, что он никогда уж не мог забыть улыбку этой девочки с крыльями, этой загадки-душительницы, принявшей смерть от его знания, что только и стремился к новой встрече с ней, к венчанью с ней, его достойной женой, с которой он обручился улыбкой у высокой скалы. Когда он вырвал себе глаза, и тепло пришло к нему, он был счастлив, потому что ничто уже не мешало ему смотреть внутрь себя, искать и ласкать свою девочку-улыбку, ничто уже не отвлекало его. Он ждал уйти, чтобы встретиться, чтобы, наконец, понять сладкую встречу с холодом, с холодом расщепления, с переходом жара агонии в холод покоя и мира, в холод счастья встречи с потерянными тобой в пути. Он был привязан к своим детям, особенно к младшей, похожей на него, большебертой и улыбочивой, только крыльев нет. Но это была привязанность доброго человека к своим детям, своим людским детям, страсть же его была в других детях его, которые ждали зачатия, чтобы родиться тоской и предчувствием, страхом перед своей силой, мольбой о слабости, которые будут приходиться в некоторых людей без их воли, без их знания, чтобы те становились посредниками между ЧТО-ТО и людьми, посредниками, принявшими схиму смерти, пробившими себе ступни, чтобы неторопливо брести по дорогам, и не смочь бежать, когда первый и второй камень бьет тебя в грудь, не смочь бежать, только выжечь себе глаза еще можно успеть, если ты уж созрел для венчанья. Только потому, Арахна, что Эдип постоянно видел у себя перед глазами виноватую девочку, стыдливо прячущую хвост, любил ее, свою решенную, познанную, умертвленную им плоть, только поэтому он не разглядел, что его жена Иокаста много старше его, что она его мать. Он платил за жадность совокупления с сутью, с загадкой, за обручение со ЧТО-ТО, которое в этот раз пришло в мир грустной девочкой с крыльями, которые не нужны, да с туловищем зверя и страхом рассказней, страхом морали, но он разглядел ее, истину, пухлоногий малыш, и принял ее в себя навсегда. Теперь оставалось только ждать, и он дождался, и сделал все как надо, просто и достойно.

Глава тридцатая первая

Повенчайте нас, пастырь

Профессор Арахна вдруг разбросал стулья, стал хватать Фому за колени, все время бормоча про себя одно и то же, тихо и дробно, тихо, тихо, да.

ПОВЕНЧАЙТЕ НАС, ПАСТЫРЬ, ПОВЕНЧАЙТЕ НАС, ПАСТЫРЬ, ПУСТЬ БУДЕТ ТАК.

Глава тридцатая вторая Спасибо, пастырь

В Фоме не было удивления.

Постороннее любопытство фиксировало, что, должно быть, трудно профессору там внизу на коленях, что руки у него мягкие и горячие даже сквозь полотно брюк и подкладки у Фомы на коленях, что глаз Арахны снизу вверх на Фому выкатывается красными толстыми жилками, что он не может долго держаться в одной точке и все прикрывается веком, как у курицы. Фома подумал, что может помочь ему встать, но тут же подумал, что, может, и не надо, пусть так, видимо, это нужно. Фома даже вдруг забыл, что он здесь в гостях, что вот перед ним тянет руки знакомец, а потом вспомнил, устыдился своей забывчивости, сразу посмотрел опять и, показывая участие, наткнулся на теплую улыбку Арахны: СПАСИБО, ПАСТЫРЬ, СПАСИБО. Профессор встал; ему было немного больно застывших колен, но он прямо и покойно подошел опять к окну и положил лоб на изморось. Фоме захотелось подойти и стать рядом, и лоб положить рядом, чтобы нос вогнулся в холодное, но ему опять показалось, что он может что-то нарушить важное в ритуале, и Фома хлопнул чаем, губами наклонив стакан.

Профессор у окна засмеялся. Фома вздрогнул и обернулся, чему бы это тот. Молодой человек, молодой человек, очень молодой человек, много моложе своего отца, много жестче его в своей молодости, много покорнее и невозмутимее, много печальнее, чем отец. Мы сразу договорились о моей свадьбе, и потому можно немного потянуть теперь со сроками секунд, тем более, что мне надо объяснить условия эксперимента. Как я уже говорил, молодой человек, у вашего отца была славная теория, кое-что вы, возможно, уже домыслили из моих рассказов о нем, об Эдипе, о брачной ночи со смертью. Его мысли были просты, яркие и беспощадны, как мысли ребенка, или варвара. Хромосомы мужчины и женщины одинаковы, все, кроме одной, половой, их равное количество пар, их состав одинаков. Люди в детстве цельны, конкретны, максимальны и фанатичны, в них нет постоянной тревоги, постоянного предчувствия, их рост идет путем простого удвоения, ауторепродукции. Но вот приходит пора полового созревания, пора ПРЕДВКУШЕНИЙ, что часть тебя будет раздвоена и отторгнута, изгнана вон тоской и поиском второй своей половины, оставшейся и умершей в другом. Процесс полового моделирования начинается с раздвоения «ХХ» и «ХУ». Перекрещиваясь, они потом опять соединяются в «ХХ» и «ХУ», но эти уже другие, потерявшие свою вторую часть. Тоска по этой потерянной второй будет гнать к следующему делению, к следующей потере, чтоб вновь искать, и вновь терять.

Тоска, предчувствие извержения, отдачи части своей сути тревожна, опасна, потому ЧТО-ТО соединило этот процесс потери с великим наслаждением, с беспамятством, с жадной мукой повтора его, чтобы вновь забываться в великой паутине ног и рук, дыхания, умирания и воскрешения. Пока здесь нет ничего нового, молодой человек, разве что только первозданность мифического, варварского восприятия вашего отца, со всей этой тоской хромосом, с поиском утерянной части себя, потому что если я все же стремился облечь свою теорию психических мутаций в достаточно приемлемые научные характеристики, то он смеялся над всем этим, он кричал, она тоскует, Арахна, ей надо встретить опять себя, ты понимаешь, и женщина-половинка «Х» в каждом мужчине «ХУ» ищет себя, другую женщину-половинку «Х», потому мужчины жаждут женщин, а женщины мужчин, ведь там половинка «Х» мужчины в «ХХ» женщины вопит от тоски по другой своей части, по «Х», убитому «Х» мужчины. Этот их крик, Арахна, звенит в весне, когда так кричат птицы, так стонет снег, плодясь в воду, так орут запахи листвы, зовя ветер унести семена осенью, чтобы вновь вылезти, и вновь потом простонать.

Этот акт расщепления всегда сложен психологически, он идет в высокой температуре психики, да и физиологии тоже. Ты посмотри, Арахна, как бьется в агонии, психической и физиологической, человек при встрече со смертью, а ведь ему предстоит всего лишь разделение, а, Арахна, ему предстоит такое же извержение себя в иное, как и оплодотворение, только в ином, более высоком порядке. И как покорны и счастливы их лица, когда это последнее, пока последнее для нас, Арахна, извержение свершилось. Никто из них не смог рассказать нам об этом, Арахна, мы не знаем их языка, мы заняты своими земными заботами, нам удобнее определять это великое зачатие последней и страшной агонией.

Вы, молодой человек, сказали или подумали, а я услышал, о ватаге мальчишек, о, это было его любимое словечко, корень его выкриков. Он утверждал, что есть в мире племя детей, которые зреют долго и трудно своей половой зрелостью, потому что она у них – зов к расщеплению в смерти, их отдача своей половины может быть лишь раз, пока лишь раз, может быть, нам будет дано узнать, что там эти встречи есть еще и еще. Эти дети рожают нормальных детей, но могли бы и не рожать, они идут по жизни, неторопливо ковыляя, все время задрав голову вверх или глядя перед собой, улыбаясь и видя то, что никогда не видит взрослый, занятый своими заботами, уже обреченный тоске расщепления в плоть и плоть, чтобы всегда было живое, были люди, среди которых появится малыш, который будет повенчан со смертью. Они все пухлоногие, Арахна, пусть кровь и не сочится у них из дыр, поверь мне, им нельзя учиться ходить быстро, а то станут спортсменами, будут бегать и прыгать, и метать диски, и хвалиться лихой фигурой. Их бы надо собрать всех вместе, эту ватажку, поселить бы на какой-нибудь высокой горе, пусть играют себе на скрипке и открывают законы вселенной, пусть ищут новые координаты, объявляют процессы, орут свои проповеди, а я бы, Арахна, ходил среди них с колотушкой в ночи и поправлял бы одеяла, и стучал бы, что все покойно, что тучи ушли вниз в долину, и у нас здесь, ребята, и завтра опять солнце, и звезды большие низко-тук-тук-тук-перетук-спите-спокойно, седые, опять ты бросил с горы вниз свои гусиные перья, арап, и они полетели, а снизу стрелял их охотник, тук-тук-тук-перетук-но в тебя не попал. Мы б держали долину в страхе, набегали брали б себе девиц, потому что такому, как Бах, куда ж ему без детишек, и воровали бы кур, чтоб могли они все же деспорить, кто первый, она иль яйцо, и учили б ее летать. Эх, Арахна, вот это была бы жизнь.

Он никак не хотел меня повенчать, ваш отец. Он говорил, что еще не пришла пора, но я уж больше не могу без него, не хочу быть один, моя тоска созрела в венчальный обряд. Вы, молодой человек, должны еще и проверить, в свете наших разговоров с отцом, похоже ли это на зачатие с женщиной.

Потом он как-то неловко ткнулся в плечо Фомы и убежал в ванную. Фома услышал пущенную воду, и подумал, что вот и хорошо, а то уж показалось, что он уже. Но вода лилась и лилась, а профессора не было.

Тогда Фома пошел, и увидел его висящим, а воду он, видимо, пустил, чтобы заглушить хрипы.

Фома искал и нашел семя.

Глава тридцать третья

Да, Арахна, да

Потом Фома обмыл Арахну и надел на него все чистое. Он уложил его на долгую скамью у входа, и только тогда сказал: Да, Арахна, это было; да ты и сам знаешь, знай же, что я видел; как-то само собой стал говорить тебе ты, ты здорово меня обманул с водой, я ничего и не услышал, думал, что ты решил помыться, принять ванну перед этим, немного даже,

знаешь, порадовался оттяжке, а ты вон как все подстроил, не любишь сам мыться, мне пришлось.

Не слишком ли много для начала, а, Арахна? Мать, отец? ты? Ирина?

И список, который мне оставил отец? Ты знаешь, что там мой отчим?

Профессор психологии, как смеялся над ним герой моей пьесы «Круги». Так мой отец в самом деле был? У меня голова идет кругом, Арахна, я заведу самовар, попью чаю, поем. Хорошо, что ты оставил завещание, а то бы мне не договориться с тем конкретным милиционером, который придет сюда завтра поутру; да, ты тоже из этой ватаги, вам наплевать на житейские мелочи, на все эти хлопоты с похоронами, с разговорами в организациях, где уж вам, вас отпустили из детсада на волю, и вы бежите и кричите привет лужам и воробьям, да, да, отец, это так, так, мама. С высокой горы кто стучит там у вас колотушкой? опять там у вас солнце? Я открою окно, мама, я отсижу подальше, чтобы меня не продуло, кто ж поставит мне градусник сразу, нет, мне нельзя теперь заболеть, никто не даст, не даст мне влаги пальцев на горячие глаза, отец, не расскажет паук мне сказку про девочку с крыльями и мальчугана с дырками в стопах.

Глава тридцать четвертая **Ведь сказано: и будучи вопли и скрежет зубовой**

В дверь позвонили.

Фома поправил покрывало в ногах профессора Арахны и подошел открыть. Фома покраснел от выпитого чая и думал, что вот сейчас придут и увидят его красного и взмокшего, незнакомого здесь никому, увидят Арахну, пыхтящий самовар, еду, возьмут Фому и сведут на суд; он представил себе это очень четко, и ему даже захотелось, чтобы все было именно так, чтобы кто-то строил догадку о свершившемся, гневно бы уличал и виноватил Фому, а тот бы тихо со всем соглашался и покорно ждал кары, потому что вдруг пришло в Фому, что он и впрямь убил, повенчал, ведь не противился Арахне, да и отцу, и маме, и даже ждал, когда уж она. Фома ощутил некоторую слабость, мокрость рубашки и на животе, где ремень держит брюки петлей, ослабил петлю, податливой ватой смял себя в коленях, вставил голову в темный и влажный, пахнувший грибами после дождя в детстве, угол в прихожей возле двери. Стало хорошо.

Мышь присела, откинув вправо хвостик, стала смотреть на человека, который уронил голову и закрыл ее лаз в углу, экая незадача, такого труда стоило его прогрызть, все время самой, только самой-одной, потому что никто не хочет помогать. В ней неторопливо шевелился страх, далекий страх, извечный, пришедший сам и кричащий сразу в детях, страх и невозможность напасть, прокусить какую-нибудь жилу у человека; но также неторопливо и холодно зрело в ней отчаяние, безвыходность отодвинуть эту голову, чтобы юркнуть в лаз, чтобы спастись, облизать детенышей, находя в них защиту, а потом устало уснуть. Человек дышал ровно, он спал. Экая несправедливость, он вот спит, возможно, даже не зная, что лишает ее возможности возвращения, а она ясно, дикарски ясно, как когда-то и сам человек, видит, слышит в цветных и пахучих зрительных галлюцинациях тоску детенышей, их страх, их одиночество – огромный глаз кошки, красный с белым посередине, ее мягкие неслышные лапы, ее тишину, черно-синюю опасность тишины. Мышь легонько поскребла вывернутую ладонь человека, но тот не шевельнулся. Мышь испугалась, быть может, он мертв, и тогда все пропало, она приникла к его сердцу, нет, оно мерно и незаинтересованно стучало урок, и мышь поддалась его ритму и немного послушала, забываясь и успокаиваясь, чтобы потом прясть назад в страхе, еще более остром и безнадежном. Страх ослепил своей вспышкой мышь, и она, потерянно-тыкая-ища-опоры-передними-лапками, залепетала свой страх, формулируя его в вопль, чтобы как-то исторгнуть из себя, чтобы освободиться от него, чтобы

остаться, чтобы смочь быть еще живой, а потом вспомнить опять о детях, еще более в заботе о них освобождаясь от собственного страха, чтобы придумать потом выход, найти, сыскать его. Фома открыл глаза, увидел ее дрожь близко, протянул руку и взял мышшь, она тихо и покорно, покорившись, сидела и пела свою дрожь и мольбу. Фома посмотрел ей в глаза, и она посмотрела в ответ. Фома одной рукой поднял свою голову, освобождая лаз, другой поднял свою ладонь и мышшь к норе, и та бросилась прочь, хохоча над этим ненормальным, который не убил ее.

Спать Фоме больше не хотелось, и он поднялся в рост, вспоминая, зачем он здесь в прихожей, да, да, все дело в звонке, ведь кто-то звонил в дверь, он шел открыть и свалился в мокрые воды, и бил дырявыми ногами, и плыл, и видел отца на берегу, которому была предсказана смерть от сына, и все сбылось, но отец не кинул его тонуть в реку, а он сам, Фома, задыхался и не хотел выплывать, но кто-то его спас, кажется, мышшь, спасла своим страхом, своей покорностью, своей молитвой, покорной молитвой-воплем о спасении, о запахе детенышей, о шершавости их язычков. Фома открыл дверь, там, за дверью, там, на белом снегу, там, приткнувшись в иголки елки, и замкнув рукава на коленках, острых детских коленках, сидела и смотрела круглыми глазами мышшонка его Ирина.

И БУДУТ ВОПЛИ И СКРЕЖЕТ ЗУБОВНЫЙ, ВЕДЬ СКАЗАНО ЭТО, ВЕДЬ СКАЗАНО, ДА.

Фома отметил странную тишину послушал еще, догадался, что тишина лежит плотно оттого, что нет стука и крика электричек, которые не возят людей по ночам. Снег шелестел по ветру, бился повешенным фонарь у закрытого ларька, сидела подбородком в коленях Ирина. Это было печально, это было холодно, одиноко и протяжно, словно остановили время и растянули нас всех в пространстве, там чьи-то ноги, там глаз в снегу, уже помутневший льдом, и все это надо бы собрать, соединить в стук времени, в связь, в жизнь и ход, и все никак, никак-никак, потому что убито время, нет его просто, нет. Мокрая рубашка высохла льдом и обхватила Фому стеклом, нежно и осторожно крепко, не шевелись, Фома, а то сломаюсь, побьюсь-вопьюсь в вены тебе и в жилы. Фома долго плыл, устал и выходил на неведомый берег с холодной и точной точкой в левом глазу, и влага лба, и влага волос белела в нем изморосью, и не таял снег у него на лице, как у мертвого, как он не таял и красиво ложился в корни волос мамы тогда, а Фома уронил гвоздь в снег и попросил еще.

МНЕ ТАК И НЕ УДАЛОСЬ СОГРЕТЬСЯ, МНЕ НИКАК, НИКАК, НИКАК НЕ СОГРЕТЬСЯ.

Это снег сказал Фоме. Мне никак не согреться, сынок, мне никак, все никак, хоть я взял себе в глаза голубой жар огня у тебя, и было тепло поначалу, даже нестерпимо жарко в крик, но потом все быстро ушло, и я опять вижу, и даже знаю, что скоро сам буду этими холодными точками, и жду их, и они летят колючими холодками и гасят жар встречи, голубой нестерпимый жар, который, казалось, выжигает все и дотла, и ты знаешь, этот холод, который опять забрезжил вдали, этот холод ты ждешь, как спасение, потому что слишком большой жар в глазах, слишком много голубого. И вот эта радость, это желание встречи и избавления от огня и определяет твою судьбу, сынок, кем ты будешь, во что воскреснешь, что родится от тебя и смерти, пляска огня и покой солнечного луча, или пляска холода и покой безмолвия, белого безмолвия, белого, белого в белую кость. Твоя мать, сынок, луч солнца теперь, а я, я опять, малыш, ничего не сумел, не сумел потерпеть, не сумел не обрадоваться избавлению, и опять мы с ней в разлуке, в большой разлуке, не в людской, где можно пойти и просить прощения, и может, простят, и может, обнимут внове, здесь этого нет, сынок, здесь разлука так уж разлука, надолго, сынок, навсегда. Правда, иногда мне кажется, что я захотел встречи с холодом, а значит, потом и быть им, потому что я знал, что ты придешь к Арахне, я знал, что ты встретишь на моих похоронах Ирину, твою сестру, и вы будете прокляты любить друг друга, ведь сказано, сынок, что будут вопли и скрежет зубовой, это сказано, сын, и это так.

Я знал, что путь твой к Арахне будет в пауках звезд, он будет трудным, и я пришел к тебе, я шел с тобой, я ложился белым пеплом тебе на лоб и на мои, мой мальчик, на горячие твои глаза, ты лег в меня, распластав руки крестом, и я грел тебя, пока ты спал, пока ждал времени идти к Арахне и повенчать его. Но тут же я думаю, что ищу просто оправдания своей слабости, своей невозможности принять до конца встречу огня, но знаешь, мальчик, я так промерз на земле, что все же, наверное, мог бы выстоять, а? Я знал, что Ирина пойдет за тобой следом. Она очень маленькая, сынок, ты правильно увидел ее глаза мышонка в снегу, она маленькая девочка, но ты знаешь, она, как Заратустра, засмеялась, когда родилась, приняла в себя поток воздуха не с плачем, как все, а с улыбкой. Ты не бойся, подвигай руками, твоя рубаха не порежет тебя, я здесь, не бойся, а то замерзнешь, а мне в помещение нельзя, хоть я жду не дожусь, чтобы встретить Арахну, погладить его, поддержать на первых порах. Мне нельзя было пустить мышонка в одинокий путь, и я пошел и с ней рядом, и сказал ей, чтобы села и ждала тебя, когда ты не открыл сразу. Она спала, как и ты, и я показывал ей твое детство, она так смеялась, когда увидела тебя в вельветовых брючках и с шишками на голове, мой маленький, шептала она, она уже не сможет без тебя, Фома, сын, не сможет. Она смеялась твоим голым коленкам, мои коленки, шептала она, она смеялась твоим детским запахам, мои, мои, мои запахи, шептала она, она, Фома, не сможет без тебя, ты это знай, нет, я ничего не хочу тебе советовать или просить тебя о чем-то, просто ты знай это, и все. А когда я рассказал ей, кем ты хотел быть, и как ты ответил на тот мой вопрос, она так смеялась, так радовалась, мой маленький мудрец, шептала она, вот это так малыш.

Фома подставил ладонь снегу, и тот лег в нее. Фоме хотелось молчать, что у него нету сил, что он слаб, что он слишком взрослый для всех этих дел, которые завещал ему отец, что не в силах быть пастырем, почему он, почему, почему. Но отец, зная его вопрос, не стал ждать и крикнул ветру, чтобы тот унес от сына, от его горячих людских рук, слабых рук, боящихся, лгущих мольбами о муке, о полной мере, а когда приходит часть ее, то уж и плачут о невозможности, о малости человеческих сил. Снег, смеясь, ударил колотьем ветра по глазам Фомы, по глазам сына, ударил иглами елки по глазам дочери, которая притихла в своих коленках, ударил резко, хрипло смеясь, невесело, скрежетом зубовным смеясь, и ушел от них, своих детей, которым дано право прожить свою знакомую судьбу так, как они сочтут возможным, так, как они изберут.

Фома же опять отметил для себя, и в этот раз это сделал именно он, Фома, а не ЧТО-ТО в нем помимо него, отметил незаинтересованность отца-снега в мнении Фомы, так же, как и незаинтересованность матери-луча в его сороковых разговорах, незаинтересованность и в живой матери и ее заботах, когда давился живот наружу Фомой, как ни цеплялся он за нутро, как ни исторгал его вместе с собой; эта незаинтересованность, эта объективность ПОМИМО, опять им узнанная, вновь принесла тяжесть песка в кровь, тяжесть и неторопливость в ноги, и боль в стопах, и Фома даже потер стопой о стопу, но не нашел шрамов, их или не было, или они слишком разумно были запрятаны в кожу и подметки модельной обуви, к которой Фома питал весьма и весьма слабость. Но эта сопричастность к объективности, эта способность принять и определить ее в мире, давала Фоме холодную сладость тревоги избранности, тревоги предчувствия, тревоги будущих встреч с собой, с собственной неизведанностью и собственной объективностью, с собственной незаинтересованностью в себе, которая есть большая боль и большая сладость, почти сладострастие, почти дрожь, почти паук в паутине с блеском и крепостью нитей, золотых и радужных в разговоре и встрече с матерью, которая стала лучом солнца теперь; и только Фома отметил про себя возможность такой сладости, как снова и снова услышал смех своего отца в тиши. Тогда Фома рассмеялся в ответ. И мышонок сразу ответил смехом, ведь он с ним родился, он взял его в себя с первым глотком воздуха, мышонок резво округлил круглые глаза, отряхнул отца с колен, и пошел к

своему брату, своему мужу, который стоял у дверей, в которые она звонила, и мокрая рубаха взяла его крепкой петлей.

Так, обнявшись смехом, они вошли в комнату, где тихо и в той же позе лежал на узкой неудобной скамье профессор Арахна, пациент № 1 среди небольшой, но избранной клиентуры отца Фомы, который передал свою практику по наследству сыну, и тот славно начал бродить свой невод в мокрых водах, где нету рыбы, зато есть иное.

Смерть всегда любопытство, и мышь, которая так недавно вопила здесь от страха, привела свой выводок, чтобы увидели смерть человека на долгой скамье у входа, привела и посадила в ногах, и хвостики у всех откинула вправо. Один из них никак не хотел сидеть и смотреть, чего там долго смотреть, все ясно, мертвый, чего тут особенного, когда на столе так много редких припасов, но мышь куснула его резко и зло, ибо знала ценность иной пищи для детей.

Когда они услышали смех в дверях, то встрепенулись, напряглись в возможном бегстве, но потом поняли, что опасности нет, не было в этом звуке глаза кошки, не было синевы тишины. Они остались сидеть в прежних позах, только ощущение, что они не одни, что здесь теперь чужие, лишило их естества, они подобрали губы, стали серьезными и чопорными. Фома и Ирина, увидев пришельцев, рассмеялись еще громче, еще безудержнее, и мышь услышала уже в их смехе призыв, желание, жажду утвердиться в живых при смерти, жажду обладания и жажду покорности, жажду ПРЕСТУПИТЬ. Потом настала синяя-синяя тишина, где может брести неслышно лапа с когтями, желтая с воском когтей, и мышь увела в свой лаз детей, увела быстро и ловко прочь.

И БУДУТ ВОПЛИ И СКРЕЖЕТ ЗУБОВНЫЙ, НЕ НАМИ СКАЗАНА ПРАВДА, НЕ НАМИ.

Ирина, улыбаясь тишине, подошла к лежащему тихо Арахне, он прикрыл глаза, он ничего не хотел видеть и знать, но ей, ее улыбке, ее тишине, синей-синей тишине, этого показалось мало. Ирина расстегнула на Фоме рубаху, сняла ее, терпеливо путаясь в РУКАВАХ, закрыла выстиранной в мокрых водах тряпкой лицо Арахны. Профессор не противился, хотя ему казалось достаточным, что он закрыл глаза и не хочет уж ни на что смотреть.

СОРОК ДНЕЙ, ИЛИ СОРОК СОРОКОВ, КОМУ ДАНО ИЗМЕРИТЬ?

Они легли на пол у двери, и Ирина недолго смеялась.

Потом спали долго все трое, спали хорошо и неслышно, каждый думая о своем.

Конец первых тридцати четырех глав

Комментарий к первой части

В конце списка, который отец Фомы написал очень неразборчивым почерком перед тем, как пойти и попытаться согреть свой холод в глазах, буду стоять Я-Автор-Я, не очень веселый, но, как мне кажется, вполне достойный человек. Там мы и познакомимся поближе, сейчас же мне было просто необходимо как-то предупредить читающего, что предлагаемый ниже комментарий суть авторские домыслы, хотя, если уж говорить совсем откровенно, я, Я-Семьянин-Я, вовсе и не ответственен за другого я, Я-Автор-Я, потому что, ей-же-ей, почти никогда не знаю, что он думает и как повернется его мысль, да и, вообще, кто он такой, пока мы не встретимся с ним за пишущей машинкой, и после некоторых первых ударов он не возьмет мои руки и не начнет стучать уже то, что видится ему и что я даже не могу потом точно запомнить, потому что все это делал действительно он, а не я. Пишу об этом так подробно, потому что уже много раз попадал из-за этого в неприятности, к примеру, спрашивают меня, а почему это в вашей последней книге господин К. сам ломает курице шею,

ведь городской интеллигент и не умеет подобного дела, а я согласен, что да, действительно не должен бы уметь, но я не помню в какой это моей последней книге есть господин К. и почему он ломает курице шею, на это мог бы ответить Я-Автор-Я, но попробуй объяснить это нашим читателям, они обидятся, скажут, зазнался, критики не понимает, а то и просто выжил из ума.

1. В первой книжке Э. РЕНАНА «История происхождения христианства» есть такие слова, которые я и поставлю в кавычки: «С тех пор, как человек стал отличать себя от животного, он сделался религиозен, то есть стал видеть в природе ЧТО-ТО за пределами действительности, а в своей судьбе ЧТО-ТО за пределами гроба».

У Ренана ЧТО-ТО никак не выделено, это, как говорят, курсив мой. Вот об этом-то, явно неудовлетворительном, понятии ЧТО-ТО мне бы хотелось поразмышлять в первую очередь, неторопливо, забыв о Фоме на время, на время его сна, и сна Ирины, и сна Арахны; быть может, даже найдется более формализованное понятие, чем это ЧТО-ТО, нечто неопределенное, некоторая бесконечность; так, может, нам и поискать в бесконечно малой величине или в бесконечно большой. Этот путь притягателен, потому что, возможно, позволит вывести формулу ЧТО-ТО, и тогда, наконец-то, математики и физики будут заместителями ФОРМУЛЫ на земле, к чему они жарко стремятся, и небезуспешно. Так может быть, ЧТО-ТО – это элементарная частица?

Так может быть, ЧТО-ТО – это гармония космогонии, далекая паутиная туманность, бесконечно большая величина?

А может быть, ЧТО-ТО – это обратная связь между ними? Их функция?

И если это функция, если это процесс, связь, движение, то можно ли говорить о его материальной субстанции? Материально ли время?

ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО.

Можно было бы остановиться на таком простом и извечном понятии, как бог, и заметить им нестройное ЧТО-ТО, но в ушах сразу стонет крик печальных распятых глаз, бьется пыль и прах падающих в возмездии стен, или сторукая недвижность Будды, или тревожная чувственность бога-козла у греков, – ФОРМУЛА поэтов. А нам бы хотелось найти и возвестить о рожденном ребенке, о связи этих двух ФОРМУЛ, об их сторуком единстве, и нету выхода из этой неопределенности, которую никак не выразить ОПРЕДЕЛЕННЫМИ понятиями, как, видно, нельзя разложить время на очень малые дискретные величины, потому что оно умрет в них, умрет в них вечность. Как же быть?

Так, может быть, ЧТО-ТО – это великая НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, которую надо искать, и никогда не найти, и все равно искать, потому что она-то и есть жадный поиск, поиск начала и поиск конца? Нет, к сожалению, нет, и это определение не подходит, уж слишком оно длинно, язык сломаешь, Н-Е-О-П-Р-Е-Д-Е-Л-Е-Н-Н-О-С-Т-Ь, длинно, длинно, не подходит.

Беспомощная злость тербит человека, когда он понимает, что выразить, объяснить что-либо ему дано только знакомыми людям понятиями, только знакомым ему языком, причем каждая зафиксированная формула, каждое разорванное мгновение, которое он убивает своим познанием, суть ложь, потому что оно соответствует только формуле человека, и он никогда не может узнать тайны «вещи в себе», тайны инвариантных координат. А может, ее и нет, этой тайны, может, она возникает лишь с присутствием человека? Тогда познай себя, человек, и ты познаешь весь мир?

ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО.

Иногда он кричит свое знание и свой страх голосом без рваности слов, ищет музыку бытия, но опять уж вскоре потом пишет ее значками, которые установил с другими людьми;

и опять воплотить ее вновь, воплотить познанное им, могут только люди, только они, скованные с ним цепью каторжане, узники, рабы собственного мозга, рабы сознания.

Неужто нет и не будет прорыва? Исхода в иное?

Так приходит жажда молчания, так может, ЧТО-ТО – это великое БЕЗМОЛВИЕ?

Нирвана тишины?

Ирина пошевелила губами во сне, уже зная, что рядом лежит близкий, потянулась к нему, потянулась в тишину, нашла ее теплоту, синюю-синюю теплоту, положила руку Фомы себе в грудь. Фома это понял, и улыбнулся не просыпаясь. Арахна по-прежнему лежал на узкой скамье, и влага мокрых вод постепенно высыхала вместе с ним.

Быть может, сказать вместо ЧТО-ТО – большая ГАРМОНИЯ? Объективная, незаинтересованная в конкретных судьбах исполнителей большая гармония бытия – неторопливого и важного процесса, клубящегося из одного в другое, в сроки своих длительностей? Что же тогда вновь делать человеку, ведь перед ним каждый раз встает один и тот же вопрос, простой, архаичный вопрос: кто я и зачем на этой земле?

Нет, гармония – это тоже уже результат, это уже определенное достижение каких-то изначальных начал, – кто же они? КТО-ТО? КТО? ДУХ? ВОЛЯ? ПОТЕНЦИЯ?

Хаотичная и дискретная или направленная и непрерывная? Куда? Фома застонал во сне. Потом вдруг встал, пошел, не поднимаясь с колен, к узкой скамье, уткнулся плечем в твердые ноги.

Моя рука отделилась от пишущей машинки, вот я вижу ее, немного подрагивающую, небольшую, с плохими ногтями, знающую его затылок. Я погладил Фому, он резко обернулся, сбросил мою руку, закричал, что нет, нет, мой срок еще не настал, я в самом конце списка. Моя рука спокойно и крепко прикрыла его крик во рту, чтобы не тревожил Ирину и Арахну, не будил их. Он послушался и затих. Потом он даже положил свою руку на мою и несколько раз провел туда и сюда, утешая меня. Ты знаешь, говорили его прикосновения, вместо ЧТО-ТО очень подошло бы слово КРУГИ, но я так назвал свою пьесу, ты ее, конечно, не читал, а жаль, мне бы именно с тобой интересно было поговорить, ведь ты ж, как я слышал, писатель. Все мы писатели, Фома, ответил я ему фразой из его пьесы, и он понимающе и по-доброму улыбнулся. Потом обернул мне свои глаза, в них была холодная, не заинтересованная во мне деятельность, своя деятельность, с которой я обязан считаться; он всматривался в меня, в глазах двигалась какая-то мысль, потом он еще раз тронул меня рукой и сказал, чтобы я назвал ЧТО-ТО постоянной ЖАЖДОЙ, назови это ЖАЖДОЙ, это будет хорошо. ПОСТОЯННОЙ ЖАЖДОЙ, сказал он, МОКРОЙ ЖАЖДОЙ, ЖАЖДОЙ МОКРЫХ ВОД. Его лицо было мокрым, он взял рубаху с лица Арахны и высушил свое лицо, а потом положил рубаху опять на лицо Арахны. Назови, назови это ЖАЖДОЙ, а тот из людей, кто не знает, что такое ЖАЖДА, пусть просто не найдет несколько дней воды и поймет; а там уж и сможет умножить ее во много раз, невероятно много раз, тогда найдется малая малость нашей ЖАЖДЫ.

Пусть будет так.

2. Я не люблю рассказывать историй, поэтому немного ниже кратко перескажу вам, читающий, что будет дальше с Фомой и чем, собственно, кончатся последующие тридцать три главы; так что любитель историй сможет и не читать дальше, не тратить время. Тот же, кто побредет вместе со мной, с Фомой, с Ириной к ЖАЖДЕ, видимо, сможет развести огонь, сготовить нехитрую еду, укрыть соседа теплее. Итак, Фома в конце списка найдет мой адрес и придет ко мне; он скажет мне, что соотносится со мной, своим творцом, так же, как я соотношусь с ЖАЖДОЙ, и что избавление заключено в слове ИСПЕЙ. Фома похоронит меня и станет на том месте крестом, и вопль его в мир будет много лететь, Фома прорастет деревом, а его крик, и мой путь вместе с ним, путь утолнения ЖАЖДЫ, откроется в мире

СЛОВОМ, чтобы тревожить и отбирать воду у следующего меня, и у следующего Фомы, и у многих других следующих. Дело в том, что автор никак не может согласиться с тезой экзистенциализма о «непредвиденной заброшенности» человека в мир, о СУЩЕСТВОВАНИИ раньше СУЩНОСТИ. Нет, напротив, автору кажется, что весь груз информации предыдущего опыта так или иначе наследуется человеком, он так или иначе ЗНАЕТ почти все о мире, почти все, кроме СЕБЯ-ПОСРЕДНИКА между опытом прежним и тем, который предстоит приобрести самому, и если уж говорить об очищающем трагизме бытия, об очищающей ЖАЖДЕ, то именно здесь, в этой паутинной причинности и есть трагическая свобода раба, трагическая свобода покорного, которого уже ничто и не может более поработить и покорить, если он знает свою причинность, свою закономерность в ряде времен, в том ряде, что есть вечность.

Остается, опять-таки, только одно: в каждом конкретном случае сам человек обязан решить, зачем он, кто он в этой длительности на земле? Познакомив читающего, как мне кажется, достаточно подробно, с одним из людей, который вольно или невольно задал себе этот тихий и простой, этот ПОКОРНЫЙ вопрос, я постараюсь провести его вместе с собой на равных, потому что путь долгий и надо сразу поверить в путника, поверить и довериться ему, пробить доверием дыры в стопах, чтобы не смочь бежать камнями. Мы побредем с Фомой в его утолении ЖАЖДЫ.

А так как всегда перед дальней дорогой надо найти немного тишины, то пусть она найдется, пусть придет молитва о счастливом окончании пути.

Часть вторая Простая книга Фомы

Глава первая Неужели никого не найдется?

Прошло некоторое время, и Фома частенько улыбался этому.

Его смешило, что время и не подозревает о всех его делах и раздумьях, а идет себе и идет, зная или не зная свою конечную цель. Время не подозревает, что оно проходит, смеялся Фома, сидя голой весной в скелете какого-нибудь парка, глубоко упрятав руки в карманы, чтобы не оставалось места для завтрака. Иногда рядом с ним крутилось пустое чертово колесо, крутилось со скрипом, съедая красную ржаву зимы. Это начиналось всегда неожиданно, и Фома смеялся слову НЕОЖИДАННОСТЬ, ведь время не знает о наших ожиданиях. Один раз Фома устроился вскочить в качалку колеса, когда она скрипела мимо, и сделал несколько оборотов, а потом выпил со смазчиком, который крутил это колесо, видел Фому, правильно решил, что нашел себе компаньона. Костер, который смазчик жег на ветру, чтобы грелось масло, трещал и веселился, они обуглили по сосиске, выпили, потом Фома столкнулся, что смазчик будет поднимать его в качалке вверх, а часа через три, когда Фома продрогнет и насмотрится на землю сверху, будет опускать его вниз, чтобы, возможно, опять попить и обсудить некоторые вопросы. Смазчик называл свое колесо паскудой, всячески ворчал на него и сетовал, и Фома очень радовался его сиплым упрекам, смеялся у себя наверху, покачивая качалку, смеялся и плакал, когда смех-смех становился уж слишком звонок и прозрачен, слишком звонок, как плач из плачей. Там у себя наверху и понял Фома тоску одного японца: НЕУЖЕЛИ НЕ НАЙДЕТСЯ НИКОГО, КТО БЫ ПОТИХОНЬКУ ЗАДУШИЛ МЕНЯ, ПОКА Я СПЛЮ?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.